

## **TEMPUS–TACIS**

Kazan State University, Russian Federation  
Centre for the Sociology of Culture

### **Contexts of Modernity – II**

A reader (2<sup>nd</sup> edition)

Edited by Sergei A. Yerofeyev

Kazan University Press, 2001

The second volume of this compendium of extracts from leading international theoretical sources on society and culture was first produced for Russian readers in 1998. Since then the demand has been growing for the presented ideas and concepts. Later they started to develop within Russian academic discourse also thanks to some full-text translations of Western authors. In the second edition of this volume we decided to re-edit many original extracts while adding new synopses of whole chapters and journal articles. This publication has become possible with the assistance of the European Union's Tempus–Tacis educational programme and in cooperation with sociologists from partner institutions of higher education: the University of Wales, Bangor (United Kingdom), the University of Kent at Canterbury (United Kingdom) and Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italy).

**TEMPUS–TACIS**  
Казанский государственный университет  
Центр социологии культуры

# **КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОСТИ – II**

**ХРЕСТОМАТИЯ**

Издание 2-е, дополненное и переработанное

Составление и редакция С.А.Ерофеева



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
2001**

УДК 316.7  
ББК 71.0  
К651

Издание осуществлено в рамках проекта «Распространение нового содержания и методов преподавания социологии в регионе» (D\_CP 20603-99), финансируемого Европейским Союзом (программа Темпус-Тасис)

Рецензент: проф. Э.С.Рахматуллин

Составление и редакция: С.А.Ерофеев

**К651** Контексты современности – II: Хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. и ред. С.А.Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – 188 с.

**ISBN 5–7464–0681–3**

Во второй части хрестоматии представлены выдержки из работ известных зарубежных обществоведов, в которых обсуждаются актуальные проблемы социальной теории и социологии культуры. Второе издание книги включает как прежде опубликованные в переводе на русский язык отрывки из глав и статей, так и новые реферативные обзоры. Хрестоматия подготовлена к печати при поддержке программы Temprus–Tasis и в сотрудничестве с европейскими партнерами: кафедрами социологии и общественных наук Университета Уэльса в Бангоре и Кентского университета (Великобритания), а также Миланского Католического университета (Италия).

Хрестоматия может быть использована в преподавании различных социальных дисциплин, а также курсов, посвященных вопросам культуры, коммуникации, социального познания, методов социологического исследования, а также исследования социальных проблем.

**ББК 71.0**

**ISBN 5–7464–0681–3**

© Центр социологии культуры КГУ, 2001

## СОДЕРЖАНИЕ:

Введение .....	5
----------------	---

### РАЗДЕЛ I

#### КУЛЬТУРА И МЕДИА: ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

<i>Тони Беннет</i> . Теории медиа и теории общества .....	7
<i>Деннис Маккуэйл</i> . Теория массовой коммуникации .....	12
<i>Джанет Вулф</i> . Общественное производство искусства .....	16
<i>Ульрика Майнхоф</i> . Дискурс .....	24
<i>Артур А. Бергер</i> . Нарративы в массовой культуре, средствах массовой информации и повседневной жизни .....	26
<i>Пьер Бурдьё</i> . Понимание .....	36
<i>Лаура Бовоне</i> . К проблеме постмодерна: тенденции развития общества и социология .....	42
<i>Джованни Сартори</i> . От социологии политики к политической социологии .....	47

### РАЗДЕЛ II

#### КОММУНИКАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ВЛАСТЬ

<i>Кит Тестер</i> . Медиа и мораль .....	51
<i>Чарльз Стюарт</i> . Толкование сновидений в социальной и культурной антропологии .....	54
<i>Джеймс Клиффорд</i> . О коллекционировании искусства и культуры .....	60
<i>Брайан С. Тернер</i> . Медицинская власть и социальное знание .....	68
<i>Джанет Вулф</i> . Невидимая flâneuse: женщины и литература современности .....	73
<i>Уильям Меррин</i> . Телевидение убивает искусство символического обмена: теория коммуникации Жана Бодрийара .....	78
<i>Стюарт Холл</i> . Заметки о деконструировании “популярного” .....	83
<i>Джефффри К. Александер</i> . Обещание культурной социологии: технологиче- ский дискурс и сакральная и профанная информационные машины .....	91

### **РАЗДЕЛ III**

#### **ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА**

<i>Дэвид Крото и Уильям Хойнс. Медиа и идеология</i> .....	99
<i>Эндрю Хейвуд. Политические идеи и понятия</i> .....	108
<i>Джон Хатчинсон и Энтони Смит. Национализм</i> .....	110
<i>бэлл хукс. Революция ценностей: обещание мультикультурных перемен</i> .....	115
<i>Марк Постер. Кибердемократия: Интернет и публичная сфера</i> .....	119
<i>Крис Баркер. Глобализация и культурная идентичность</i> .....	124
<i>Майкл Риэл. Культурная теория и ее отношение к зрелищам популярной культуры и медиа</i> .....	128

### **РАЗДЕЛ IV**

#### **СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ**

<i>Уильям Томас и Флориан Знанецкий. Понятие социальной дезорганизации</i> .....	134
<i>Ричард Фуллер и Ричард Майерс. Стадии социальной проблемы</i> .....	138
<i>Эдвин Лемерт. Первичное и вторичное отклонения</i> .....	142
<i>Говард Беккер. Девиантность как следствие “наклеивания ярлыков”</i> .....	145
<i>Герберт Блумер. Социальные проблемы как коллективное поведение</i> .....	150
<i>Малькольм Спектор и Джон Китсьюз. Конструирование социальных проблем</i> .....	160
<i>Джоел Бест. Конструкционистский подход к исследованию социальных проблем</i> .....	164
<i>Раймонд Михаловски. (Де)конструкция, постмодернизм и социальные проблемы: факты, фикции и фантазии в условиях “конца истории”</i> .....	175

## Введение

Первое издание настоящего сборника появилось в 1998 г. благодаря совместной работе казанских и европейских участников международного проекта в рамках программы Темпус-Тасис. В настоящее время завершается второй образовательный проект, целью которого является распространение нового содержания и методов преподавания социологических курсов, а также курсов, связанных со смежными дисциплинами. Необходимость повторного выпуска книги (значительно переработанного и дополненного) обусловлена растущими потребностями преподавателей и студентов, уже не понаслышке знакомых с современными международными дискуссиями по вопросам культуры, медиа, идентичности, идеологии, исследовательских методов, социальных проблем и т.д.

Общая концепция второго издания хрестоматии претерпела некоторые изменения: была пересмотрена структура разделов, часть прежних текстов была несколько ранее опубликована в первой части хрестоматии (ее втором издании), были добавлены новые переводы отрывков из работ западных авторов. Кроме того, было внесено важное изменение – теперь у читателей есть возможность ознакомиться с реферативными обзорами всего содержания ряда книжных глав и журнальных статей, вышедших на английском языке за последние годы. Содержание сборника отражает существующие приоритеты преподавателей и исследователей Поволжского региона; при этом проблематика культуры и медиа, оставаясь в центре внимания, представлена также в разделах, посвященных власти и знанию, политике и идеологии, а также социологии социальных проблем. Множественность “контекстов”, в которых происходит развитие современного все более культурно глобализованного общества, та множественность, о которой мы неоднократно говорили, характеризуя наши публикации, сегодня предстает в новом качестве. Не только онтологическое, но и эпистемологическое ее измерение находят свое отражение в текстах отобранных авторов и тогда, когда они обращаются к тем или иным культурным формам, и тогда, когда речь идет о нашем меняющемся отношении к природе и методам социального познания.

В работе над текстами был учтен опыт новых международных контактов (индивидуальных поездок, семинаров, школ, конференций). Значительно вырос не только общий профессиональный уровень членов нашего академического сообщества – повысилось также качество переводов и способность точно передавать мысли зарубежных авторов. Среди переводчиков и авторов реферативных обзоров – не только опытные научные работники, но и начинающие исследователи. У нас есть все основания надеяться, что с новыми проектами появятся новые публикации, среди которых будут подобные хрестоматии. Центр социологии культуры КГУ и сеть партнеров по всему региону продолжают работу над развитием учебных программ и повышением квалификации сотрудников университетов и научных учреждений. В частности, на базе Центра начинают работу специализированные социологические курсы при поддержке Фонда Форда. Эта работа будет осуществляться Организацией преподавателей социальных наук (ОПСН), которая представляет собой неформальное творческое объединение единомышленников, заинтересованных в развитии междисциплинарных научных связей.

\* \* \*

Переводчики и авторы реферативных обзоров: С.Ерофеев, Ж.Кузнецова, С.Макова, Л.Низамова, Н.Пестрякова, М.Руденко, Д.Тутаева, И.Ясавеев, А.Яцык (кафедра социологии Казанского государственного университета), Г.Мелихов, Н.Николаева (кафедра философии КГУ), Л.Халиуллина (кафедра психологии КГУ), А.Тузиков, Э.Шабашвили (кафедра государственного управления, истории и социологии Казанского государственного технологического университета), Л.Иликова (Институт государственной службы при Президенте Республики Татарстан, С.Нагуманова (кафедра философии Казанского государственного медицинского университета), Л.Вершинина (Университет Альберты, Канада).

С научными и образовательными инициативами Центра и ОПСН можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: [www.csc.ksu.ru](http://www.csc.ksu.ru).

## РАЗДЕЛ I

# КУЛЬТУРА И МЕДИА: ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Тони Беннет*

### Теории медиа и теории общества<sup>1</sup>

**“Массовый”, “медиа”, “коммуникации”** (с. 30–32)

Новые медиа, ассоциируемые в особенности с историей XIX и XX вв., – пресса, радио и телевидение, индустрия кино и звукозаписи – традиционно объединялись под заголовком “масс-медиа”, и их изучение развивалось как составная часть социологии массовых коммуникаций. С одной стороны, эта унаследованная из прошлого лексика выполняет полезную описательную функцию; мы знаем, о чем говорится, когда используются такие термины как “медиа массовой коммуникации”. Однако с другой стороны, эти термины могут оказаться безусловно обманчивыми. ...Если термин “масс-медиа” и имеет по-прежнему широкое распространение, то это происходит скорее в силу привычки, а не чего-либо другого; это удобный способ обозначать область исследования, а не средство определения того, как эта область должна изучаться, или установления предположений, из которых должно исходить исследование. Однако заслуживает внимания то, что в недавних исследованиях обнаруживалась тенденция группировать медиа под различными заголовками. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер, например, создали словосочетание “индустрия культуры” в отношении коллективных действий медиа, тогда как совсем недавно Луи Альтюссер соединил медиа с семьей, церковью и системой образования под заголовком “идеологические государственные аппараты”. Конечно же, проблема состоит не только в терминологии. Такие сдвиги в лексике были частью развития новых подходов к изучению медиа, в рамках которых связь между медиа-процессами и более широкими социальными и политическими отношениями истолковывается на языке, который существенно

---

<sup>1</sup> Перевод Л. Низамовой по: Bennett, T. ‘Theories of the Media, Theories of Society’ in Gurevitch, M. et al. (eds.) *Culture, Society and the Media*, London: Methuen, 1982, pp. 30–35.



отличается от языка, воплощенного в подходах более традиционной социологии массовых коммуникаций...<sup>1</sup>

Я начну, во-первых, с традиции рассмотрения массового общества, корни которой уходят в середину XIX в., – традиции негативной оценки роли медиа. Развитие последних считалось опасным для целостности культурных ценностей элиты, в них также видели угрозу жизнеспособности политических институтов демократии или же считали, что развитие медиа угрожает в равной степени и тому, и другому. Затем я рассмотрю противоположные концепции либерально-плюралистических школ. В соответствии с этими предположениями, медиа, функционирующие как “четвертое сословие”, играют важную роль в демократическом процессе посредством конституирования независимого от правительства источника информации. Считается, что они присоединяются к системе сдержек и противовесов, которые в либеральных демократиях должны предотвращать непропорциональную концентрацию власти в рамках какой-то одной ветви власти или у какой-то одной части населения. Далее, я рассмотрю критическую теорию Франкфуртской школы как пример попытки инкорпорировать критику массового общества и использовать ее с марксистской точки зрения. В заключение будут освещены новейшие попытки усовершенствовать марксистский подход к медиа как часть более общей теории идеологии (...)

(С. 32) ...Традиция изучения массового общества ... никоим образом не представляет собой единую целостную концепцию. Она должна оцениваться скорее как широко определяемая “перспектива” [outlook], состоящая из ряда перекрестных тем – таких, как упадок “органического сообщества”, рост массовой культуры, социальная атомизация “массового человека”. Взятые вместе, они отразили полифонию негативных и пессимистических реакций на процессы индустриализации, урбанизации, развития политической демократии, становления народного образования и появления современных форм “массовой коммуникации” (...)

### ***Массы и моральный беспорядок***

(С. 34–35) Постоянной темой в работах основателей социологической традиции была обеспокоенность по поводу морального беспорядка, который, по их мнению, появляется из-за дезинтеграции традиционных связей, привязывающих индивида к сообществу и определяющих его место в нем. В Англии, ... где вопросы, касающиеся интеграции социального порядка, скорее были областью литературного и культурного критицизма, а не социологии, сходные интересы были выражены в традиции культурного анализа, идущей от Мэтью Арнольда [Arnold] к Т.С.Элиоту [Eliot] и Ф.Р.Ливису [Leavis]. Типичным для этой традиции было понимание того,

---

<sup>1</sup> Чтобы показать, как теоретические послышки различных концепций относительно более широкой структуры общества определяют и формулировку вопросов, и способ их обсуждения, автор рассматривает четыре традиции в теории медиа. – *Прим. перев.*

что социальная анархия, угроза социального беспорядка “снизу” есть следствие анархии культурной, положения, при котором культуры различных классов или социальных групп скорее конкурируют друг с другом, нежели сосуществуют как взаимодополняющие части в рамках тесно интегрированной системы культурных взаимоотношений. ... Таким образом, – и в этом его взгляды были абсолютно типичными для традиции анализа массового общества – Арнольд отвечал на *политическую* проблему социального беспорядка путем ее переопределения в качестве проблемы *культурной*. Анархия угрожает потому, – утверждал он, – что механизмы “культуры”, т.е. интегративной системы ценностей, “лучших из всех, что когда-либо существовали в мире», разрушились, и в результате различные классы скорее стали отстаивать свои интересы, а не подчинять их консенсусу интересов, согласованному через “центр власти”.

### ***Массы и тоталитаризм***

(С. 35–36) Вероятно наиболее пессимистические прогнозы развития массового общества [исходили от тех ученых], ... которые стремились доказать связь между социальными условиями существования “массового человека” и подъемом тоталитарных социальных и политических движений. Наиболее влиятельная тенденция в рамках этого течения мысли была представлена Ханной Арендт [Arendt] и Карлом Фридрихом [Friedrich].

Считая нацизм и сталинизм лишь вариантами в сущности одной формы тоталитаризма, они стремились объяснить их как результат проникновения в политику иррациональных сил, которые, согласно их воззрениям, в эпоху массовой демократии утверждались в политике через придание политического веса мнению масс в тот период, когда социальная атомизация сделала эти массы поддающимися манипулированию со стороны элиты.

### ***Массовая культура против культуры народной***

(С. 36) ... Развитие массового общества сопровождалось формированием нового типа культуры – “массовой культуры”, которая своим всеобъемлющим проникновением и пагубным влиянием грозит разрушить черты морального и эстетического превосходства, присущие “высокой культуре” образованной элиты. При этом “массовая культура” рассматривается как явно низшая по отношению к “органическим” и, по общему мнению, более здоровым формам “народной культуры” [folk culture], которая ранее наполняла жизнь простых людей. Утверждалось, что вместо крепкой, уверенной в себе и самодостаточной культуры, прославляющей подлинные ценности народа [an organic folk], мы имеем слабую и бесцветную “массовую культуру”, которая производится на коммерческих началах и предлагается массам для пассивного потребления:

Народное искусство [folk art] выросло снизу. Оно рассматривалось как спонтанное, почвенное самовыражение народа для удовлетворения собст

венных нужд, в значительной степени свободное от поддержки со стороны “высокой культуры”. Массовая же культура навязывается сверху. Она производится специалистами, которые нанимаются бизнесменами; ее аудитории – это пассивные потребители, их участие ограничено выбором: купить или не купить... Народное искусство было институтом самих людей, их маленьким частным садом, отделенным от большого официального парка высокой культуры их господ. Но массовая культура разрушает эту стену, открывая массам худшую по качеству форму высокой культуры и становясь, таким образом, инструментом политического господства.

### ***Перспективы массового общества и исследования медиа***

(С. 36–37) Из сказанного выше можно увидеть, что теория массового общества строит свою критику модерного общества через проведение последовательного ряда исторических контрастов между прошлым и настоящим. Утверждается, что когда-то социальные отношения были общинными и органичными по природе. ...Ключевые термины [теории массового общества] ...всегда были печально известны своей неясностью. Массам и элите обычно давалось негативное определение как простых дополнений друг по отношению к другу вместо того, чтобы выработать некую позитивную идентификацию с точки зрения определенного объективного набора социальных характеристик. Однако может быть, что более существен следующий факт: несмотря на то, что эта теория строится на проведении ряда исторических различий и на том, чтобы сделать эти различия работающими, ей (и это представляется весьма примечательным) именно это и не удается. Контраст между органическим сообществом и массовым обществом несомненно определяется чрезмерно романтизированным представлением о прошлом, доказательством чему служит тот факт, что не удалось установить сколько-нибудь точно, когда завершилось одно и началось другое.

Однако даже если допустить, что концепции органической солидарности и массового общества могут быть в некоторой степени исторически обоснованными, все равно по-прежнему нерешенной остается практическая проблема анализа перехода от одной к другой.

(С. 40) ...В работах таких социологов, как Эдвард Шилз [Shils] и Дэниел Белл [Bell] мы видим возникновение либерально-плюралистической традиции в социальной теории на основе критики концепции массового общества, ...что составило одну из сторон общей ревизии наследия европейской социальной теории, предпринятой более молодым поколением американских социологов в военные и послевоенные годы.

...Новые теоретические установки обосновали возможность нового подхода к медиа. Считавшиеся некогда злыми силами, привнесенными массовым обществом, теперь они рассматривались как еще не воспетый герой торжествующего либерализма и плюрализма. Медиа, как уже гово

рилось, далеко монолитны. Столкновение и разнообразие точек зрения, выражаемых посредством медиа, способствовали свободной и открытой циркуляции идей, давая таким образом медиа возможность исполнять роль “четвертого сословия” и оказывать давление на правящую элиту, напоминая о ее зависимости от мнения большинства. Кроме того, решительное несогласие с критикой массовой культуры означало представление медиа в качестве “поставщика явлений культуры”. Как было показано, в дополнение к распространению того, что по общему мнению считалось низкопробной продукцией, медиа также сделали возможным восприятие образцов высокой классики широкой аудиторией, культурные стандарты которой повышались с ростом стандартов образовательных.

### ***Франкфуртская школа и критика “индустрии культуры”***

(С. 41–45) Несмотря на преобладающий консерватизм традиции [критики “индустрии культуры”], концепция массового общества [очерченная представителями Франкфуртской школы] повлияла и на развитие марксистских теорий медиа...

[Согласно рассматриваемым теориям,] медиа определяют сами термины, в которых мы должны или не должны “мыслить” мир. Влияние медиа должно оцениваться не на том языке, на каком мы обдумываем тот или иной частный вопрос, но с точки зрения того, каким образом они обуславливают весь наш интеллектуальный Gestalt [нем “образ”– прим. перев.]. Воплощаемая ими угроза заключается в том, что они сдерживают само мышление, заставляя нас жить в мире гипнотических дефиниций и автоматических идеологических соответствий, исключающих любое действительное когнитивное посредничество с нашей стороны. (...)

Однако вероятно наиболее сильно негативная позиция франкфуртских теоретиков выразилась в оценке культурных последствий функционирования масс-медиа. Это произошло в силу того, что представители Франкфуртской школы не ограничивались рассмотрением очевидных проявлений низкопробной культуры [pulp culture], образцы которой создавались американской кино- и музыкальной индустрией. Действительно, они уделяли значительное внимание этому феномену, описывая механизмы его воздействия, его эффекты, которые они считали наркотическими по своей сути или (что еще хуже) в некоторых аспектах лоботомическими. Однако еще более важным представляется их утверждение о том, что медиа захватили и извратили традиционную высокую (или буржуазную) культуру, делая ее более доступной ценой лишения ее “ауры” исключительности, от которой зависела ее критическая функция.

По мнению франкфуртских теоретиков, буржуазная культура XIX в. всегда была, пусть и с оговорками, культурой оппозиционной. Отделенная от повседневного мира бизнеса и коммерции, она высказывалась в пользу идеалов и устремлений, которые подавлялись в будничном буржуазном

мире. Иначе говоря, искусство принадлежало ко “второму измерению”. Оно воплощало альтернативное видение существующих социальных отношений и тем самым поддерживало жизнь через концепцию трансцендентного. Короче говоря, оно было бунтарским.

Однако в рамках социального и культурного порядка монополистического капитализма искусство, как утверждалось, оказывается лишенным своей оппозиционной ценности. Оно примиряется с существующим строем, став его составной частью. Отчасти это примирение оценивалось как побочный продукт природы товарного обмена, поскольку заинтересованная только в меновой стоимости рыночная экономика может использовать в собственных целях даже те потребительские ценности, которые ей явно оппозиционны. Как Че Гевара оказывается хорош для почтового бизнеса, а маоизм порождает новую моду на головные уборы, так и искусство (даже самое бунтарское) может быть полезным для бизнеса, если оно лишено критической ценности и сведено до уровня простого самопроизводства капитала. (...)

В целом в противоположность оптимизму таких либерал-плюралистов, как Эдвард Шилз, франкфуртские теоретики утверждают, что медиа сделали мир серьезной культуры более широко доступным только ценой лишения его критической сущности. (...)

*Деннис Маккуэйл*

## **Теория массовой коммуникации<sup>1</sup>**

***Определение массовой коммуникации*** (из введения, с. 10–11)

Термин “массовая коммуникация”, возникший в конце 1930-х гг., определить непросто, поскольку он имеет слишком много коннотаций. Слово “массовый” само по себе является ценностно нагруженным и дискуссионным, и термин “коммуникация” до сих пор не имеет согласованного определения – хотя “социальную интеракцию через сообщения”, по Гербнеру [Gerbner], трудно превзойти. Тем не менее, в широко распространенных обыденных представлениях существует достаточное единство, достаточное для рабочего определения и общей характеристики явления. Термин “массовый” обозначает большой объем, область или степень распространения (людей или, например, производства), тогда как “коммуникация” относится к созданию и восприятию смыслового значения, к передаче и получению сообщений. Одно из определений Яновица [Janowitz] гласит:

---

<sup>1</sup> Перевод Л. Низамовой по: McQuail, D. *Mass Communication Theory, An Introduction*, SAGE Publications, 1994.

«массовые коммуникации охватывают институты и технику, с помощью которых специализированные группы используют технологические средства (прессу, радио, кино и т.д.) для распространения символического содержания на большие, гетерогенные и чрезвычайно рассеянные аудитории». В этом и других сходных определениях слово «коммуникация» используется для обозначения именно «передачи» как она видится отправителем, а не в более полном значении термина, которое включает идеи отклика, участия и взаимодействия.

Процесс «массовой коммуникации» не есть синоним «масс-медиа». Масс-медиа означает организованные технологии, обеспечивающие возможность массовой коммуникации. Существуют и другие распространенные способы применения технологий медиа и иные типы взаимоотношений, осуществляемые посредством одних и тех же коммуникационных сетей. Например, основные формы и технологии «массовой» коммуникации остаются теми же при использовании в газете или на радио сугубо местного назначения. Масс-медиа могут быть также использованы в личных, частных или организационных целях. Те же самые медиа, что несут общедоступные сообщения широкой публике в общественных интересах, могут также передавать личные объявления, пропагандистские сообщения, просьбы о милосердии, рекламу и много других видов разнообразной информации. Этот момент особенно важен во время конвергенции коммуникационных технологий, при которой границы между публичной и частной, широкомасштабной и индивидуальной коммуникационными сетями все больше стираются.

Повседневный опыт, связанный с массовой коммуникацией, чрезвычайно разнообразен. К тому же он добровольный, и, как правило, определяется культурой и требованиями конкретного образа жизни и социального окружения. Представление о массовом (и гомогенном) опыте коммуникации – абстрактно и гипотетично; и когда в ряде случаев он кажется реальностью, то причины скорее всего следует искать в особых условиях социальной жизни, а не в медиа. В результате появления новых технологий и новых способов их применения увеличивается разнообразие технологически опосредованных коммуникационных взаимосвязей. Общий смысл данных замечаний состоит в том, что массовая коммуникация с самого начала была скорее идеей, чем реальностью. Термин обозначает условия и процесс, которые теоретически возможны, но редко обнаруживаются в чистой форме. Это пример того, что Макс Вебер называл «идеальным типом» – понятие, которое подчеркивает ключевые элементы имеющей место эмпирической реальности. Там, где по всей видимости она имеет место, она оказывается менее массовой, менее технологически детерминированной, чем представляется на поверхности.

### *Социальный пол (gender) и масс-медиа* (из раздела 4, с. 101–103)

... В сотрудничестве с феминистскими исследованиями теория дифференцированного культурно ориентированного прочтения текстов медиа добилась существенных успехов в области социальных исследований пола. Если анализ коммуникации (даже радикально-критической направленности) долгое время казался по большей части “слепым в отношении социального пола”, то сейчас можно с уверенностью говорить о “культурном феминистском проекте изучения медиа”, который расширяет и углубляет тематику, первоначально ограниченную поло-ролевой социализацией. Объем связанных с социальным полом исследований медиа в настоящее время очень велик. Частично находясь в русле первопроходческих теорий, сформулированных применительно к социальному классу и расе, они также имеют несколько новых измерений. Главным образом это касается исследований, базирующихся на психоаналитической теории и заимствованных из более широкой области феминистских исследований.

Вопросы социального пола затрагивают почти каждый аспект взаимосвязи медиа и культуры. Важнейшим, вероятно, является вопрос о дефиниции “гендерного”. Ван Зонен [van Zoopen] пишет, что значение социального пола «никогда не бывает данным, но изменяется в соответствии со специфическим культурным и историческим окружением ...и является предметом дебатов и продолжающейся дискурсивной борьбы».

Феминистский подход к изучению массовой коммуникации открывает многочисленные направления анализа, которыми нередко пренебрегали в прошлом. Одно направление связано с тем, что многие тексты медиа в том, каким образом они кодируются, являются глубоко и устойчиво *гендерными*. Обычно это происходит в соответствии с кругозором ожидаемой аудитории. Дж.Фиск [J.Fiske], показывая, что означает “гендерно насыщенное телевидение”, приводит обширные данные, начиная с детальных разборов многочисленных популярных телевизионных программ. Ярким примером его работы (а также исследований других авторов) является изучение жанра “мыльной оперы” – жанра, который правомерно может считаться выдержанным в русле “женской эстетики”. По мнению Фиска, “мыльные оперы” «постоянно ставят под вопрос правомерность патриархата, они узаконивают женские ценности и таким образом предоставляют возможность самоуважения тем женщинам, которые живут ими. Короче говоря, они в постоянной борьбе обеспечивают женской культуре средства... ее упрочения и расширения в рамках доминирующего патриархата и в противоположность ему». Ливингстоун [Livingstone] обращается к теории, в соответствии с которой типичная структура “мыльной оперы” соответствует заведенному распорядку дня домашней хозяйки. Придание гендерного характера содержанию может изучаться также с точки зрения производства,

поскольку большая часть работы по отбору и производству осуществляется мужчинами.

Интерес к конструированию социального пола в текстах медиа – это только один из аспектов, подтверждающих уместность темы социального пола в теории коммуникации. Исследования аудитории медиа и способов восприятия содержания медиа показали, что существуют достаточно серьезные различия, связанные с социальным полом, в манере использования медиа и в значениях, которыми наделяется деятельность. Значительная часть данных может быть объяснена стереотипными различиями в социальных ролях, типичным повседневным опытом и заботами и тем, как социальный пол влияет на наличие и использование времени. Социальный пол также связан с распределением властных полномочий в семье и общей природой взаимоотношений между женщинами и партнерами – мужчинами или женщинами в расширенной семье. К тому же причины различного отношения к медиа могут быть объяснены психологическими различиями мужского и женского. Различные типы содержания медиа (а также их производство и использование) оказываются связанными и с характером выражения разделяемой идентичности, основанной на социальном поле, а также с различиями в приобретаемых удовольствиях и значениях.

Кроме всего прочего, гендерный подход ставит вопрос о том, могут ли выбор и интерпретация медиа привести к каким-либо изменениям, став частью сопротивления женщин в социальной ситуации, которая пока еще в целом характеризуется структурным неравенством. Возможность оппозиционного прочтения и сопротивления объясняет, почему женщин интересуют сообщения медиа с откровенно патриархальным содержанием (таким, как в романтической художественной литературе), а также помогает переоценить лежащий на поверхности смысл этого интереса. Наконец, можно утверждать, что в разной степени гендерно насыщенная культура медиа, ...вызывает разные отклики, и что гендерные различия приводят к альтернативным способам принятия значения от медиа. Хотя повышенное внимание к социальному полу широко приветствовалось, высказывались и предупреждения о чрезмерном увлечении гендерными различиями...

### ***Реабилитация популярного***

Масс-медиа в значительной мере ответственны за развитие того, что мы называем “массовой культурой” или “популярной культурой”. В процессе своего развития медиа “колонизировали” и другие культурные формы. Наиболее широко распространяемая и доставляющая удовольствие символическая культура нашего времени (если вообще имеет смысл говорить о ней в единственном числе) – это та, что льется в изобилии через посредничество таких медиа, как кино, телевидение, газеты, звукозапись, видео и т.д. Вряд ли стоит ожидать, что этот поток может быть каким-либо образом повернут вспять или очищен; вряд ли можно рассматривать пре



обладающую культуру нашего времени в качестве деформированного коммерческого отпрыска из некогда безупречного рода.

Возможности отделения элитарного и массового вкуса невелики. Почти каждого привлекает какой-либо из разнообразных элементов популярной культуры медиа. Вкусы всегда будут различаться, могут быть использованы различные критерии оценки, но мы должны по меньшей мере принять современную культуру медиа как свершившийся факт и общаться с ней на ее же языке. Похоже, что термин “массовая культура” остается в обращении, однако альтернативный термин – “популярная культура” (означающая, по существу, “культуру, которая популярна”, т.е. очень нравится многим людям) кажется предпочтительнее, он не несет такой уничижительной окраски. Популярная культура в таком смысле – это гибридный продукт многочисленных и непрекращающихся усилий выражения через современные идиомы, имеющих целью дойти до людей и завоевать рынок; это, как сказал бы Фиск, продукт постоянного активного спроса людей на “значения и удовольствия”.

*Джанет Вулф*

## **Общественное производство искусства<sup>1</sup>**

(...) Идея художника как уникально одаренной личности несомненно исторически специфична. Ее возникновение датируется подъемом торгового класса в Италии и Франции, а также развитием гуманистических идей в рамках философской и религиозной мысли. ...«Принципиально новым элементом возрожденческой концепции искусства стало выдвижение идеи гения и утверждение о том, что произведение искусства есть порождение свободной индивидуальности, способной трансцендировать традицию, теории и правила, даже само произведение, которое она безусловно превосходит по глубине и внутреннему богатству, – индивидуальности, не поддающейся объективации никакими средствами...»<sup>2</sup>.

(...) В течение нескольких последующих веков [эта] концепция была конкретизирована и уточнена, в завершение чего художник (писатель) стал восприниматься как субъект, абсолютно свободный от влияния каких бы то ни было социальных институтов. ...Однако я настаиваю на том, что никогда не было справедливым (и сегодня не является таковым) утверждение, что художник свободен от социальных и политических ограничений

---

<sup>1</sup> Перевод Л.Халиуллиной по: Wolff, J. *The Social Production of Art*, Macmillan, 1993, Chapter 2, pp. 26–29, 32–37, 39–47.

<sup>2</sup> Hauser, A. *The Social History of Art*, Vol. 2, Routledge, 1968, p. 68

непосредственного либо опосредованного характера. Формальная организация художественного производства в рамках сообщества практически повсеместно исчезла, однако постулат о художнике как единственном авторе игнорирует тот факт, что искусство было и все еще продолжает быть плодом совместной деятельности многих людей.

(...) В некоторых случаях представляется вполне очевидным, что производство искусства является предприятием совместным. Например, несмотря на то, что центральной фигурой в создании фильма традиционно полагается его режиссер, никто и не думает отрицать, что значительная часть работы выполняется продюсерами, кинооператорами, актерами, сценаристами... Несколько иначе обстоит дело с исполнительским искусством, которое, однако, также является коллективным в том смысле, что для того, чтобы предстать перед публикой, произведению сперва надо быть написанным Моцартом... или Брехтом, а затем исполненным музыкантами, актерами и прочими при непосредственной задействованности тех, кого Г.Беккер обозначил как вспомогательный персонал. В данном случае интерпретация содержания произведения равно как и внеэстетические ограничительные факторы в значительной мере сказываются на получаемом результате.

Однако положение о том, что искусство по сути своей является социальным, предполагает нечто большее, нежели вышеприведенные аргументы. Во-первых, оно отсылает нас к аспектам культурной продукции, наличие которых вроде бы и не является характерной чертой ее создания, но без которых она, тем не менее, не могла бы появиться, – к определенным технологическим предпосылкам (стробоскопам, электронному обеспечению, печатным устройствам, масляным краскам...), а также к особым эстетическим кодам и жанрам, необходимым для создания любой работы, будь она хоть абсолютно инновационной. Говард Беккер приводит практически исчерпывающий их перечень: «В отношении любого произведения искусства будет справедливым сказать, что оно является плодом совместной деятельности многих людей. Чтобы концерт симфонического оркестра состоялся, инструменты должны быть кем-то изобретены, сконструированы, они должны храниться в соответствующих условиях, нотация должна быть фиксированной, ...концерт должен быть разрекламирован, аудитория – быть готовой к адекватному его восприятию... Сходный перечень может быть составлен для любого из исполнительских искусств, а также, будучи незначительно преобразованным, он применим и к изобразительному искусству, и к литературе. Если говорить об искусстве в целом, то перечень актуальных видов деятельности включает замысел работы, создание материальных артефактов, конвенциональных средств выразительности, обучение задействованных лиц и в каком-то смысле аудитории, ...а также оп

ределение должного сочетания данных составных элементов в зависимости от специфики конкретного произведения или выступления.»<sup>1</sup>

Во-вторых, определение искусства в качестве результата совместной деятельности относится и к тем видам искусства, которые традиционно воспринимаются как “личные” и индивидуальные. Писатели, например, нуждаются в определенном материале, им совсем не вредит грамотность и некоторое знакомство с литературными традициями и условностями, не обходятся они и без взаимодействия с издателями и наборщиками; они также находятся в непосредственной зависимости от книжного рынка и (что необязательно) от литературных критиков. Все больше отходит в сферу мифологии упрощенное представление о вдохновенном творце художественных идей.

(...) Ориентированная подобным образом научная работа<sup>2</sup> приобретает сегодня особую значимость, поскольку она позволяет проникнуть в подлинную природу искусства, демистифицировать свойственные нашей эпохе представления об автономии и универсальной значимости произведений искусства. Такой подход проблематизирует представление о так называемой “большой традиции”, выявляя социальные и исторические процессы, вовлеченные в ее конструирование, равно как и конструирование уверенности в том, что она неким образом располагается над историей, социальными различиями и предрассудками. Это ни в коем случае не девальвация произведений искусства как художественных шедевров (во всяком случае в большинстве исследований), но лишь определение того, каким образом внешние, внеэстетические элементы вторгаются в сферу предположительно чистых эстетических суждений. Происхождение и восприятие произведений, таким образом, изучаются более комплексно, в том числе с точки зрения их взаимосвязи с социальными различиями и экономическими факторами.

(...) Несмотря на огромную ценность исследовательских работ, широко определяемых как марксистская эстетика и марксистская социология искусства, нельзя не признать и их определенной ограниченности. Развивая одно частное направление исследований, рассматривая искусство в первую очередь как идеологию, они зачастую упускают из виду несколько областей чрезвычайной важности: 1) технологию и 2) социальные институты<sup>3</sup>, 3) экономические факторы<sup>4</sup>. Однако прежде необходимо сказать, что проведение между этими областями четкой демаркационной линии мне не представляется возможным; в реальной действительности экономические

---

<sup>1</sup> См.: Becker, H. ‘*Art as Collective Action*’, in *American Sociological Review*, 39:6, 1974.

<sup>2</sup> В области социологии искусства. – *Прим. перев.*

<sup>3</sup> И то, и другое имеет место вследствие игнорирования процессуальных аспектов художественного производства и его институциональных координат. – *Прим. перев.*

<sup>4</sup> Вследствие стремления избежать при анализе экономического редукционизма. – *Прим. перев.*

и институциональные факторы действуют строго взаимосвязанно. Также следует отметить, что воздействие институциональных факторов и факторов процессуального характера на производство художественной продукции может быть как прямым, так и косвенным. В некоторых случаях художники, дабы не пасть от бескормицы, сознательно регулируют свойства производимой продукции, подстраивая ее под конкретные требования экономического, в частности, свойства (отдельные романисты XIX в., например, при написании произведений следовали запросам растиражированных журналов или библиотек). Практика изобразительного искусства также зависима: либо эксплицитно – в силу обязательств, данных художником покровителю, либо имплицитно – будучи обусловленной предшествующим обучением художника. Там, где социальному влиянию не свойственен непосредственный характер, само произведение может и не иметь явных его следов, однако этого нельзя сказать об условиях его создания, распределения и потребления... (...)

### **Технология**

Беккер пишет, что прежде чем кто-то сможет сочинить музыку либо исполнить ее, должны быть изобретены и сконструированы соответствующие инструменты. Это наиболее очевидная сторона того, каким образом технология оказывает влияние на результаты художественного производства. То же относится и к писанию картин маслом, печати и электронным средствам связи. Исследование Февра и Мартена, касающееся изобретения типографского набора в XV в. и последующего перехода от рукописной к печатной продукции, в захватывающих деталях документирует подъем книгопечатания и связанные с ним социальные изменения... «Печатная книга была чем-то большим, нежели просто триумфом технической изобретательности – она стала одним из самых могущественных факторов, связывающих воедино западную цивилизацию, местом встречи рассеянных в пространстве и времени идей и самих мыслителей... Новейшие концепции в кратчайшее время пересекали целые регионы земного шара, и единственной в этом им помехой мог служить разве что язык. Книга пробуждала к жизни новые модусы мышления не только в узком кругу избранных, но и далеко за его пределами...»<sup>1</sup>

(...) Переход от письма к печати повлек за собой серьезные изменения культурного и интеллектуального характера, сказавшись на содержании знания, его распространении, ученых сообществах, сообществах художников и прочих вовлеченных в интеллектуальную жизнь. Явно неуместным представляется прямолинейный подход к интеллектуальным и культурным трансформациям, объясняющий их появление одними лишь социальными

---

<sup>1</sup> Febvre, L., Martin, H.-J. *The Coming of The Book: The Impact of Printing 1450–1800*, New Left books, 1976, pp. 10–11

и экономическими факторами без должного изучения действительных технологических реалий, в эти трансформации вовлеченных.

(...) Изобретение печати оказало необычайное воздействие на культурную и интеллектуальную жизнь и общественные отношения в целом. Немного позднее, в первые десятилетия XIX в., следующая технологическая революция в печати повлекла за собой обширные и важные, хотя и не столь явные социальные изменения. Революцией этой стало изобретение металлических печатных станков, более чем в два раза превосходящих деревянные по количеству копий производимых за час. Наряду с ростом грамотности это означало быстрое увеличение количества читающей публики и, одновременно, производимой литературы. Появление новой популярной литературы: баллад, периодики, религиозных и политических трактатов, а позднее и дешевых книг, было напрямую связано с развитием техники книгопечатания.

(...) Однако технологические и научные открытия никогда не происходят в социальном вакууме. При рассмотрении технологических инноваций мы ни в коем случае не можем игнорировать их институционального контекста. (...)

### ***Социальные институты***

Что касается художественного производства, то в сфере ведения социальных институтов находятся следующие моменты: кто конкретно станет художником, каким образом он или она этого достигнет и каким образом сможет практиковать избранное искусство, как обеспечить то, чтобы его или ее работы были донесены до публики. Оценки и суждения касательно работ и школ, напрямую обуславливающие последующее их место в истории искусств, не являются суверенно индивидуальными и эстетически чистыми – они социально уполномочены и социально сконструированы. ...Можно выделить следующие аспекты действия социальных институтов: 1) набор и обучение художников, 2) системы покровительства и их [функциональные] эквиваленты, 3) системы посредничества. (...)

*Набор и обучение художников.* Инициация человека в художника всегда была мероприятием, социально организованным и отгороженным от остального мира. Таковой она остается и на сегодняшний день. Чтобы стать профессиональным писателем, например, требуются грамотность (следовательно, не всем доступное образование) и свободное время (следовательно, стабильный доход). В свете этого не удивительно то, что в XIX в. большая часть писателей вышла из среднего класса и что значительная часть романистов состояла из свободных от работы жен нового обеспеченного среднего класса.

(...) В XX в. слой художников производит впечатление менее жесткой структуры. ...Классовое происхождение писателей проявляет тенденцию ко все большей и большей гетерогенности, то же относится к сфере музыки и

живописи. «Доступ к миру искусства сегодня не является ни жестко ограниченным, ни тотально контролируемым, однако это не должно приводить к заключению, что потенциальные деятели искусства только и ждут подходящего случая, чтобы занять уготованное им место. Существует целый спектр социально конструируемых атрибутов артистической идентичности, соответствие которым является действительно необходимым для реализации художника в качестве художника».<sup>1</sup>

(...) В любую эпоху на профессиональную деятельность художников существенное воздействие оказывали их частные ценности и установки их семьи и социального класса. Образовательные институты не в меньшей степени «формируют» художника, определяя направление его или ее развития. Разумеется, все это в разной степени и по-разному применимо к различным формам искусства в различные исторические периоды.

Значение социальных институтов становится особенно заметным при рассмотрении положения женщин в истории искусств, в особенности в живописи и скульптуре. ...Социальная организация художественного производства на протяжении многих веков систематически исключала женщин из участия в нем. ...Не удивительно, что даже наиболее успешные романистки XIX в. (Бронте, Джорж Элиот [в Англии], Жорж Санд во Франции) вынуждены были принимать мужские псевдонимы, чтобы избежать предрассудков со стороны издателей и критиков. ...В настоящее время количество работ, посвященных анализу искусства, создаваемого женщинами, все возрастает, и проблема эта постепенно становится центральной для социологии искусства.

*Системы патронажа.* В XV в. и ранее покровители искусства считали возможным указывать (сегодня это рассматривается как возмутительное вмешательство в работу художника), какие цвета художник должен использовать (золотой и ультрамарин в частности), и как должны быть расположены фигуры на холсте. На более позднем этапе влияние их все еще оставалось существенным, хотя непосредственное вмешательство в работу художника стало делом не столь частым. Литературное покровительство, несмотря на скрытность [этого механизма] (и малое количество фактического материала по поводу его существования), также сыграло одну из центральных ролей в истории литературы. Оно переходило последовательно из рук монархии и церкви (в XIV–XV вв.) к большому кругу аристократов (XVI в.), а затем и к политическим лидерам периода после [английской] Реставрации 1688 г. В эпоху феодализма тесная связь между автором и его покровителем существенно сказывалась на природе текстов. Писатель – лояльный, привязанный (зачастую и в пространственном отношении) – помещался где-то поблизости от покровителя. Эта связь нарушилась и соответствующая зависимость пошла на убыль примерно после

---

<sup>1</sup> Griff, M. 'The Recruitment And Socialization of Artists', in Albrecht et al., The Sociology of Art and Literature: A Reader, Duckworth, 1970, p. 147

1600 г.: патронаж свелся к искреннему предпочтительному отношению покровителя к своему автору, которое последний оплачивал.

Начиная примерно с середины XVII в. и художники, и писатели оказались перед лицом новой ситуации, характеризовавшейся большим потенциалом свободы в силу упадка системы прямого патронажа, но в то же время осложнявшей их жизнь досадной и полной риска зависимостью от рыночных отношений. Издатели и агенты сбыта взяли на себя ответственность за ангажированность литературных произведений, сменив на этом посту литературных покровителей; в сфере изобразительного искусства некогда игравшие огромную роль меценаты и академии были потеснены критиками. Другими словами, люди и институты, доселе бывшие просто посредниками, заняли одну из ключевых позиций в решении настоящей проблемы экономического выживания художников. Поскольку художники оказались “институционально вытесненными” и попали в прямую зависимость от причуд рынка, посредники приобрели для них жизненную значимость.

(...) Наиболее существенным в этой сфере изобретением XIX в. стало появление системы правительственного патронажа искусства, того, что Джанет Миниган [Janet Minihan] определяет в качестве национализации культуры. В Британии в настоящее время она реализует себя через Совет по делам искусств (the Art Council) и через региональные ассоциации искусств, сотрудничающие с местными органами управления посредством поддержки художественных проектов и распределения грантов между художниками и писателями. В этом можно и не усматривать прямого вмешательства в авторскую работу, однако следует признать, что подобная разновидность покровительства ничуть не менее нейтральна, чем любая другая общественная организация. Следовательно, успех или неудача произведения напрямую зависят от его специфических свойств, а категоризация самих его свойств в свою очередь зависит от внеэстетической системы оценивания, отнюдь не завязанной на субстанциальных параметрах качества. Сегодня искусство становится популярным у аудитории благодаря многочисленным и разнообразным социальным структурам и факторам процессуального характера, а не потому, что оно представляет из себя искусство “хорошее” в противовес “плохому”.

*Посредники.* ...Создание “великой традиции” литературы и живописи во многом обязано издателям, критикам, владельцам художественных галерей, управляющим музеями и издателям журналов. ...Одним из лучших примеров, демонстрирующих роль посредников [в производстве культурной продукции] является исследование Уайтов (White H.C. and White C.A.), касающееся подъема импрессионизма во Франции в XIX в. и его своеобразных взаимных отношений с системой критики. Сами по себе работы импрессионистов вряд ли стали бы предметом пристального внимания и интереса аудитории – отчасти в силу существующей в академической сре

де приверженности конвенциональным ценностям, отчасти потому, что справиться с возрастающим количеством все новых и новых авторов, уделяя каждому соответствующую его или ее достоинству порцию внимания, у Академии [художеств] просто не было возможности. Благодаря определенному стечению политических и экономических обстоятельств возникло новое действующее лицо – обеспеченный средний класс, потенциальный покупатель предметов искусства, потенциальный агент финансовых спекуляций с ними, более заинтересованный и активный, нежели аристократия, бывший монополист в этой сфере. Дельцы весьма преуспели, затовавив рынок до отказа, а критики легитимировали новые работы. В результате их совместных взаимовыгодных действий возникло то, что сегодня очень многими расценивается как одно из наиболее значительных течений в истории искусств.

### ***Экономические факторы***

Рассмотрение соображений экономического характера имеет ясное и недвусмысленное отношение к концепции общественного производства искусства. ...Что именно производится (или исполняется), что потребляется аудиторией – эти вопросы зачастую находятся в ведении детерминант чисто экономического свойства. Недавнее американское исследование оперного репертуара показало его ограниченность, связанную с принципом получения определенного размера кассовых сборов; следствием этого является его стандартизация, допускающая лишь небольшие вкрапления произведений инновационного характера. Использование в живописи XV в. золота, серебра и ультрамарина было полностью экономически обусловлено их высокой стоимостью. ...Когда индустрия популярной музыки проявила тенденцию к олигополизации, то заметно поубавилось количество инновационных произведений, тогда как в периоды соперничества между отдельными кампаниями рынок музыки был куда более разнообразным. Этот факт противоречит положению о том, что “потребители получают то, что они хотят получить”, и тем более положению о том, что они “хотят получить то, что они получают”. Однако поддержка и финансирование [искусства] не могут рассматриваться сами по себе: необходимо принимать во внимание их количественные колебания, связанные с экономическими циклами или политическими изменениями. В XX в. искусство потеряло институциональную определенность, которой оно обладало в феодальный и классический периоды [следовательно, несколько утратил свое значение и его институциональный анализ – *прим. перев.*]. Сегодня более важным представляется осознание ...уязвимости культуры, ее зависимости от экономических факторов, а также выработка своеобразной политэкономии культуры. Однако стоит вновь повторить, что контекст экономический не существует изолированно от социально-институционального и технологического контекстов. То, каким образом экономический кризис сказывается на искусстве, опосредуется классовой структурой общества, современной организацией культуры, опосредуется политически и социально...



## Ульрика Майнхоф Дискурс<sup>1</sup>

Понятие “дискурс” наиболее часто отождествляется с “языком в употреблении” и служит для описания текста в непосредственном коммуникативном контексте, поэтому ему принадлежит заметная роль в целом ряде дисциплин и различных субдисциплин лингвистики: в лингвистике текста – для описания способа соединения предложений в единое связанное по смыслу лингвистическое целое, большее чем грамматическое предложение<sup>2</sup>; в системной лингвистике – для связи лингвистической организации дискурса с определенными системными компонентами ситуационных типов; в психолингвистике – для определения когнитивных стратегий, к которым пользователи языка прибегают в процессе коммуникации, включая активизацию мирового знания. Поскольку дискурс скорее затрагивает значение высказываний, нежели “предложения”, он тяготеет к прагматике, хотя лингвистическая прагматика не может служить исчерпывающим объяснением всех аспектов дискурса. В силу этого концепции дискурса варьируются от наиболее узкого текстуально-лингвистического описания, согласно которому определение дискурса сводится к «связному языковому высказыванию, большему, чем предложение»<sup>3</sup>, (письменному или устному, исходящему от одного индивида или от нескольких), до макроконцепций, в которых предпринимается попытка теоретического определения идеологических кластеров – “дискурсивных формаций”), систематизирующих знание и опыт и подавляющих (в силу своего господствующего положения) альтернативные дискурсы. Поэтому возникает вопрос о том, как дискурс может быть оспорен внутри себя самого, и каким образом возникают дискурсы альтернативные. Такого рода дебаты характерны для многих областей, в том числе для феминизма и постструктурализма.

В новейших теориях, получивших распространение в искусствознании и социальных науках, дискурс стал одним из широко и некорректно употребляемых терминов – понятием, не имеющим ясно очерченного однозначного определения. Часто дискурс и текст используются как взаимозаменяемые понятия. Различие производится либо на основании методологической перспективы (текст = материальный продукт; дискурс = коммуникативный процесс), либо на основе характера связей текстов в рамках

---

<sup>1</sup> Перевод М.Руденко по: Meinhof, U. ‘Discourse’, in Outhwaite, W., Bottomore, T. (eds.) *The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought*, 1993, pp. 161–162.

<sup>2</sup> См.: Beaugrande, R.D., Dressler, W. *Introduction to Textlinguistics*, London: Longman, 1981; Halliday, N., Hasan, R. *Cohesion in English*, London: Longman, 1976.

<sup>3</sup> Crystal, D. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*, Oxford: Blackwell, 1985, p. 96

одного диалога. Согласно Богранду и Дресслеру<sup>1</sup>, текст и дискурс имеют одинаковую временную протяженность в том смысле, что исходят от одного и того же автора (продюцента), однако дискурс понимается ими как сумма связанных между собой по смыслу текстов. Они предлагают семь стандартов текстуальности, наличие которых обязательно для того, чтобы текст можно было считать событием коммуникации. В качестве так называемых “сконцентрированных вокруг текста” критериев выступают смысловая связанность и взаимная соотнесенность. Оба эти критерия отсылают нас к грамматическим формам, маркирующим отношения между грамматическими предложениями в тексте, и к концептуальным связям, представленным в виде связанных по смыслу предложений, не обязательно выступающих в виде тех или иных грамматических форм. Кроме того, указывается на существование “сконцентрированных вокруг пользователя” критериев: намеренность, приемлемость, информативность, ситуационность и интертекстуальность. Вместе эти семь стандартов составляют основу текстуальной коммуникации. Сконцентрированные вокруг пользователя стандарты должны учитывать то обстоятельство, что “значение” дискурса лежит вне грамматических форм как таковых, так что читатели или слушатели должны активно конструировать значение на основе выводов.

Левинсон<sup>2</sup> сводит анализ дискурса к формулированию правил построения его структуры в соответствии с текстовыми грамматиками и теориями, в основу которых положен речевой акт, и противопоставляет это анализу общения, практикуемому этнометодологами в строго эмпирической манере<sup>3</sup>. Однако более широкое понимание дискурса подразумевает анализ речевого общения и другие социологические подходы к коммуникативному взаимодействию в качестве одного из методов изучения дискурса<sup>4</sup>.

В литературной теории концепция дискурса обозначает путь стирания разграничений между литературными и нелитературными текстами. Особый статус поэтического текста заменяется континуумом лингвистических практик, в большей или меньшей степени зависящих от контекста. Таким образом, различие между “дискурсом в жизни” и “дискурсом в поэзии”<sup>5</sup> перестает быть абсолютным, и речь идет лишь о степени его выраженности. Согласно Волошинову, дискурс идеологичен в том плане, что он возникает между социально организованными индивидами и не поддается пониманию вне его контекста. «Дискурс, взятый... в качестве феномена куль

---

<sup>1</sup> См.: Beaugrande, R.D., Dressler, W. *Op. cit.*, 1976.

<sup>2</sup> См.: Levinson, S.C. *Pragmatics*, Cambridge: Cambridge University Press, Ch. 6, 1983.

<sup>3</sup> См. Sacks, J. et al. ‘A Simplest Systematics for the Organisation of Turn-Taking in Conversations’, in *Language* 50:4, 1974, 696–735; Schenkein, J. (ed.) *Studies in the Organisation of Conversational Interaction*, New York: Academic Press, 1978.

<sup>4</sup> См.: Gumperz, J. *Discourse Strategies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

<sup>5</sup> См.: Vološinov, V.N. ‘Discourse in Life and Discourse in Poetry’, in Shukman, A. (ed.) *Bakhtin School Papers: Russian Poetics in Translation*, vol. 10, Oxford, 1983.

турного общения, ...не может быть осмыслен независимо от породившей его общественной ситуации<sup>1</sup>. Идеологическая природа дискурса проявляется наиболее ярко в «дискурсе авторитета, который требует нашей безоговорочной лояльности. Поэтому дискурс авторитета не оставляет никакого места игре с обрамляющим его контекстом... Он неразделим со своим авторитетом – политической властью, институтом, личностью, существуя и отмирая вместе с ним»<sup>2</sup>.

Таким образом, концепция дискурса Волошинова, Бахтина и других членов бахтинского кружка, а также родственные им концепции, представленные в последних работах по социальной семиотике, обеспечивают связь с макроверсиями дискурса, присутствующими у Бурдьё в его определении “лингвистического капитала”<sup>3</sup> и особенно с “дискурсивными формациями” Фуко<sup>4</sup>.

*Артур А. Бергер*

## **Нарративы в массовой культуре, средствах массовой информации и повседневной жизни<sup>5</sup>**

Мы редко задумываемся над этим, однако на протяжении всей нашей жизни мы погружены в нарративы. Мы плаваем в море рассказов, которые читаем и слушаем... Наша смерть, описанная в некрологах, также приобретает вид нарративов.

Питер Брукс [Brooks] заметил: «Наши жизни тесно переплетены с нарративами – с повествованиями, которые мы рассказываем, и каждое из которых переработано историей нашей жизни, которую, в свою очередь, мы непрерывно рассказываем сами себе»<sup>6</sup>...

В этой книге я рассматриваю несколько связанных с нарративами тем. Что такое нарративы? Чем они отличаются от других видов литературы? Почему они важны для нас? Какую роль играют нарративы в нашей жизни? Как действуют нарративы? (...)

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>2</sup> См.: Bakhtin, M. *The Dialogic Imagination: Four Essays*, ed. By M.Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981.

<sup>3</sup> См.: Bourdieu, P. ‘The Economics of Linguistic in Exchanges’, in *Social Science Information*, 16: 6, 1977.

<sup>4</sup> См.: Foucault, M. *The Archaeology of Knowledge*, London: Tavistock, 1969.

<sup>5</sup> Перевод Э.Шабашвили по: Berger, A.A. *Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life*, Sage Publications, 1997.

<sup>6</sup> См.: Brooks, P. *Reading for the plot: Design and intention in narrative*, New York: Knopf, 1984.

## ***О соотношении понятий “текст” и “нарратив”***

Я должен заметить, что использую термин “текст”, под которым в литературной теории понимаются любые формы творчества. Это позволяет мне говорить обо всем – от комиксов до романов – без необходимости постоянно повторять самого себя и напоминать, что предмет нашего обсуждения – текст, является произведением искусства – хорошим или плохим, массовым или узкоспециальным, адресованным детям или взрослым. Текст – это абстрактный и общий термин, который может быть очень полезен, особенно когда имеешь дело с теорией.

Мы находимся под воздействием нарративов с наших самых первых дней, когда наши матери поют нам колыбельные и рассказывают детские стишки. Песенки и стишки, которые мы заучиваем маленькими детьми – не что иное, как нарративы. Например, стишок про Шалтая-Болтая – это уже нарратив, хотя и простой. Биографии, детективы, сказки, фантастика и приключенческие книги тоже являются нарративами. Прекрасным образцом нарративной среды может служить телевидение. Вечерние выпуски новостей тоже можно рассматривать как нарративы, ...несмотря на то, что сами создатели программ новостей, вероятно, найдут такое определение необоснованным. Комиксы тоже являются нарративами, хотя отдельные картинки нет. Такие картинки изображают определенный момент времени, но они не содержат последовательности действий. И, несмотря на то, что нарративы могут быть простыми или сложными, уяснение того, как они функционируют, и как люди их понимают, является одним из самых сложных вопросов, который занимает теоретиков литературы по крайней мере со времен Аристотеля и до наших дней.

### ***Что такое нарратив?***

Я полагаю, что нарратив – это повествование или повествования о событиях, которые произошли, происходят или могли произойти с людьми, животными, инопланетянами или насекомыми – с кем угодно. Нарратив – это история, содержащая последовательность событий, что предполагает связь нарратива с некоторым определенным периодом времени. Временной отрезок может быть очень коротким, как в детской сказке, или очень длинным, как в некоторых романах и поэмах. Многие рассказы имеют линейную структуру, которая может быть представлена следующим образом: А > Б > В > Г > Д > Е > Ж > З > И. Тут А ведет к Б, Б ведет к В, В ведет к Г и так далее, пока история не заканчивается на И. Однако история не всегда представляет собой прямую линию, она может двигаться по кругу или принимать иную конфигурацию.

Безусловно, существуют пьесы, в которых не показывается почти никакого действия, в которых актеры действуют как рассказчики, например, читают письма, посылаемые героям, или что-нибудь в этом роде. Однако по большей части в пьесах изображается действие, то есть герои делают

что-нибудь, наряду с разговорами. Однако и разговоры могут быть рассмотрены как разновидность действия. (...)

### ***Что является и что не является нарративом***

Как я уже говорил, в наиболее простом смысле нарративы – это истории, которые имели место во времени. Что можно к этому добавить? Тема, без которой мы не можем обойтись, это вопрос о том, что отличает нарратив от не-нарратива. В качестве примера возьмем историю о Шалтае-Болтае и картинку, где Шалтай-Болтай показан сидящим на стене. Из рассказа мы узнаем, что случилось с Шалтаем-Болтаем, – он свалился, и его не смогли собрать. (Я должен добавить, что эта незамысловатая история используется писателями и рассказчиками всякий раз, когда они хотят подчеркнуть хрупкость сущего. Иногда Шалтай-Болтай помогает нам понять, что если мы рвем что-либо, “собрать” это снова оказывается невозможным. Таким образом сказка может нас чему-то научить.) На картинке мы видим Шалтая-Болтая сидящего на стене – и все. Мы выхватываем момент времени, но не видим никаких последствий.

Картины, рисунки, фотографии – нечто, заключенное в рамку, не может быть нарративом, хотя это может быть частью известного и знакомого всем нарратива. Например, картинки в комиксах помещены в отдельные рамки, каждая рамка выхватывает момент времени, но последовательность рамок имеет место на протяжении некоторого времени. Рисунок с Шалтаем-Болтаем является частью повседневного знания маленьких детей в Англии, Соединенных Штатах и, вероятно, где-нибудь еще; когда они видят рисунок с Шалтаем-Болтаем, сидящим на стене, они уже знают, что случится потом, потому что они восприняли этот детский стишок как часть их детской культуры.

Хотя некоторые рисунки и содержат достаточное количество информации, для того чтобы быть прочитанными как нарративы (что и происходит в том случае, когда зритель рассматривает одну часть рисунка, а затем переходит к другой), необходимо, однако, заметить, что отдельное изображение чего-либо не понимается как нечто, обладающее нарративным содержанием.

### ***Наррация и нарративы***

Нарратор – это тот, кто рассказывает историю. Слово произошло от латинского *narratus*, что означает “делать известным”. Нарратор – это тот, кто делает известной историю, созданную либо самим рассказчиком (рассказчицей), либо кем-нибудь другим. Если взять все тот же детский стишок про Шалтая-Болтая, то с технической точки зрения он представляет собой рассказанную историю.

Шалтай-Болтай является объектом, но не субъектом. Дело в том, что он – некто, чья трагическая судьба описывается нарратором, однако сам Шал

тай-Болтай ничего не говорит и никак не связан с кем-либо еще. Таким образом, мы можем провести различие между субъектом, который может воздействовать на других, и объектом, чьи действия описываются нарратором. Безусловно, в ряде случаев нарратор рассказывает о других объектах, одновременно с этим исполняя роли описываемых персонажей и даже воспроизводя диалог, однако на этот диалог будет наложен отпечаток личности нарратора.

Впрочем, не все рассказы рассказываются нарраторами или вообще имеют нарраторов. Некоторые истории имеют нарраторов, которые ведут рассказ или появляются время от времени, чтобы пояснить что-нибудь или представить новый аспект повествования. Есть и повествования другого рода – рассказы без рассказчика. Эти истории просто разыгрываются персонажами – разумеется, это осуществляется по воле того, кто обычно является нарратором, но мы его не видим. Мы видим, что делают герои, слушаем, что они говорят, и нам не нужен нарратор для понимания истории. В качестве примера приведу такой детский стишок:

– Бе-е, бе-е-е, черная овечка,  
Есть ли у тебя шерсть?  
– Да, сэр, три полных сумки,  
Одна для хозяина,  
Одна для хозяйки,  
И одна для маленького мальчика,  
Который живет в конце улицы.

В этом очень простом нарративе, есть диалог, между мужчиной (“сэр”) и черной овечкой, и история рассказывается в диалоге. “Сэр” задает вопросы, а черная овечка отвечает. Безусловно, эта история очень проста, но тем не менее это история. В ней есть последовательность событий и есть то, что можно рассказать. Мы узнаем между делом, что у черной овечки есть хозяин и хозяйка, и что в конце улицы живет маленький мальчик. Важнейшая часть нарратива – сообщение читателю информации, но об этом мы поговорим позже. Нарративы не всегда должны включать физические действия.

В некоторых рассказах присутствует нарратор, тогда как в других нарратор более или менее скрыт. (...) Встречаются и комбинации этих двух стилей: иногда историю рассказывает нарратор, но по ходу истории герои начинают разговаривать друг с другом и взаимодействовать.

Например, в Зазеркалье у Льюиса Кэрролла мы опять встречаем Шалтая-Болтая, но в этой интерпретации истории у нас есть Алиса, которая разговаривает с Шалтаем-Болтаем.

– Это очень обидно, – после долгого молчания сказал Шалтай-Болтай, не глядя на Алису, – когда тебя называют куриным яйцом. Очень!

– Я сказала, что Вы выглядите как куриное яйцо, сэр, – вежливо объяснила Алиса. – А некоторые яйца бывают очень хорошенькими, знаете ли, – добавила она, надеясь превратить свое замечание в комплимент.

Этот диалог между Алисой и Шалтаем-Болтаем продолжается и включает знаменитую историю о дне нерождения и т.д. Но главное, что совершил здесь Кэрролл, – он оживил традиционный детский стишок, превратив Шалтая-Болтая в субъекта, в характер, который взаимодействует с другим героем – Алисой.

Я должен указать на то, что в истории, как говорил Юрий Лотман, значение имеет все: «Тенденция интерпретировать все в художественном тексте как значимое настолько сильна, что мы можем с полным правом заключить, что в художественном произведении нет ничего случайного»<sup>1</sup>. Безусловно, одни вещи более значимы, чем другие. В ряде случаев отсутствие определенного действия может быть воспринято как действие. Например, в знаменитой истории про Шерлока Холмса собака, которая не залаяла (потому, что она узнала хозяина), помогла раскрыть тайну. После этого мы можем сказать, что в истории все играет роль, и нет ничего абсолютно нейтрального, даже если так может показаться на первый взгляд. Это один из ключей к детективным историям: когда сыщик раскрывает преступление, то оказывается, что вещи, которые казались ни с чем не связанными, имели важное значение.

### ***Почему важны нарративы***

Как я уже упоминал, нарративы пропитывают всю нашу жизнь. В детстве отцы, матери и другие люди поют нам колыбельные, учат нас повторять детские стишки, а когда мы вырастаем, нам читают волшебные сказки и другие истории, и в конце концов мы сами учимся читать книги. Это очень важно для нашей будущей жизни. Например, Бруно Беттельхейм предположил, что в действительности сказки помогают детям решать психологические проблемы. По мысли Беттельхейма, сказки могут генерировать сообщения к сознанию, подсознанию и к внесознательной части разума индивида – в зависимости от уровня развития, на котором ребенок находится в данное время. Имея дело с универсальными проблемами, сказки подготавливают детское сознание к встрече с ними. В силу этого сказки имеют огромную значимость для детского Ego: они стимулируют его развитие, облегчая в то же время давление подсознательного и внесознательного, которое ребенок испытывает. Кроме того, они признают существование этого давления желаний и страстей, испытываемых ребенком, и показы

---

<sup>1</sup> Lotman, J.M. 'The Structure of the Artistic Text' in *Ann Arbor: Michigan Slavic Contributions*, 1977, p. 17

вают ребенку, как он или она может удовлетворить свое Id (свои желания), не противореча своим эго и суперэго (самому себе и своему долгу)<sup>1</sup>. (...)

Беттельхейм также говорит, что мы учимся посредством сказок, однако если воспользоваться его аргументацией и пойти несколько дальше, то вполне можно сказать, что мы учимся посредством нарративов. Действительно, некоторые ученые считают, что через нарративы лежит один из важных путей познания мира и себя.

Так, Лорел Ричардсон заметил этому поводу следующее: «Нарративы – это главный способ, при помощи которого люди выражают свой жизненный опыт, полезный для данного временного эпизода...»<sup>2</sup>

Нарративы выступают и как средство обоснования, и как способ демонстрации чего-либо. Люди могут нарративно воспринимать мир и могут нарративно рассказывать о мире. Согласно Джерому Брюнеру, нарративное обоснование является одним из двух основных и универсальных способов человеческого познания<sup>3</sup>. В качестве другого способа выступает логико-научный, ...однако если последний в наибольшей степени годится для поисков истины, то нарративный способ подходит для поисков связи между событиями. Объяснение уже заключено в контексте нарратива, тогда как логико-научное объяснение отделено от пространства и времени события. Оба способа являются “рациональными” путями познания мира. ...Нарративы не противоречат логико-научному способу, ученые используют нарративы, описывая свои эксперименты, и можно сказать, что сами эксперименты имеют нарративную структуру, поскольку они имеют определенную последовательность и направленность.

Другой путь познания вещей лежит через фигуративный язык – через метафору, которая строится на аналогии, и через метонимию, опирающейся на ассоциацию. Эти два способа сравниваются ниже в таблице 1. Последние примеры в таблице являются образцами субкатегорий и того и другого: уподобление [simile] –разновидность метафоры, использующая выражения типа “похожий на”, “подобный (чему-либо)”, и синекдоха [sinecdоче] – форма метонимии, когда часть выступает как целое и наоборот. Иногда объект может представлять собой и метафору и метонимию. Например, змей может быть метафорически связан в сознании с пенисом (смутное сходство с чем-то длинным и тонким), и в то же время метонимически – через ассоциацию с Евой и Райским садом.

---

<sup>1</sup> См.: Bettelheim, B. *The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales*, New York: Knopf, 1976.

<sup>2</sup> См.: Richardson, L. ‘Narrative and Sociology’, in *Journal of Contemporary Ethnography*: 19, 1990, p. 116–135.

<sup>3</sup> См.: Bruner, J. *Actual Minds, Possible Worlds*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.



Таблица 1. Метафора и метонимия

<i>Метафора</i>	<i>Метонимия</i>
Аналогия	ассоциация
Моя любовь – роза алая	Ролс-ройс = богатство
Моя любовь подобна розе	Пентагон = американский милитаризм
Simile	synecdoche

Мы обычно думаем о метафоре и метонимии как о литературных приемах, чрезвычайно далеких от нашей повседневной жизни, но это не так. Так, в частности, Джорж Лаков [G.Lakoff] и Марк Джонсон [M.Johnson] замечают следующее. «Метафора включена в повседневность не только через язык, но и через мысли и действия. Наша обычная концептуальная система, в понятиях которой мы мыслим и действуем, очень метафорична по своей природе. Концепции, которые управляют нашими мыслями, это вопрос не только интеллектуального развития. Они также управляют нашими каждодневными поступками, вплоть до самых бытовых деталей. Наша концептуальная структура – это то, что мы воспринимаем, с чем мы выходим в мир, как мы относимся к другим людям. Таким образом, наша концептуальная система играет главную роль в определении нашей повседневной реальности. Если мы правы, предполагая, что наша концептуальная система в значительной степени метафорична, тогда наши мысли, наш опыт и наши ежедневные действия в значительной степени – вопрос метафор».<sup>1</sup>

Мы должны помнить, конечно, что метафора и метонимия присутствуют во всех видах нарративов. Вспомним, что Шалтай-Болтай – это яйцо, и таким образом в этом маленьком детском стихотворении мы видим метафору, именно эта метафора и является одной из причин сильного впечатления от этой истории.

Мы можем провести различия между концептуальным знанием, являющимся теоретическим и заключающим в себе абстрактные идеи (метафорические по своей природе, если правы Лаков и Джонсон), и актуализированной концепцией, которая включается в нарратив или же служит объяснению чего-либо с помощью конкретных примеров. Используя абстрактные понятия, можно, в частности, сказать: «когда некоторые явления или предметы разрушаются, случается и так, что восстановить их в прежнем виде не представляется возможным». Однако история Шалтая-Болтая служит значительно более запоминающимся примером этого.

<sup>1</sup> Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*, Chicago: University of Chicago Press, 1980, p. 3

### ***Читая нарративы***

Нарративы рассчитаны на то, что те, кто их читает, имеют достаточный запас информации, который и позволяет им понимать, что происходит. Если читатель не знает, что такое овца, что такое шерсть, что значит хозяин и хозяйка, то вышеупомянутый стишок про овечку будет для него бессмысленной. Истории, адресованные маленьким детям, как правило, имеют очень простой сюжет, достаточный для знакомства с животными или другими вещами и для того, чтобы научить детей обращаться с ними. По мере развития ребенка и увеличения его запасов информации читаемые им рассказы предъявляют все большие требования к его информированности. Писатели, пишущие для взрослых, рассчитывают на то, что мы понимаем или, по крайней мере, способны понять то, о чем они пишут.

### ***Роль читателя***

Теоретики, изучающие восприятие и реакцию читателя, отмечают, что текст требует от читателя восприятия того, что написано “между строк”, и предполагают, что разные люди прочтут в этом случае разные вещи. Не найдется и двух людей, которые прочитают один текст одинаково. Замечу, однако, что разные люди, прочитавшие, например, «Мальтийский орден», вероятно вынесли из этого чтения также много общего. Дональд Макклоски [McCloskey] заметил следующее: «Писатель-фантаст уподобляется ученому, когда приглашает читателя к чтению между строк; ... что отличает хорошего рассказчика и хорошего ученого от плохого, так это чувство смысла»<sup>1</sup>. В этом он прав, поскольку ни одно художественное произведение не может рассказать обо всем. Писатель выбирает лишь некоторые вещи, о которых он может поведать, считая, что читатели дополнят то, что они прочтут, пользуясь своим собственным багажом знаний.

Макклоски ссылается на Вольфганга Изера [Iser], одного из признанных авторитетов в области теории восприятия, говоря, что именно то, что пропущено в явно тривиальных сценах и диалогах, стимулирует читателя к заполнению пустоты при помощи собственного воображения. “Постоянные формы жизни”, о которых говорит Вирджиния Вулф, не описываются на печатных страницах, они образуются из взаимодействия читателя и текста. В соответствии с представлениями Изера текст полон пробелов, которые читатель заполняет по мере чтения подобно тому, как читатель комиксов восстанавливает непрерывность между картинками.

Изер различает два полюса, ... объясняя различие между ними следующим образом: «Литературный труд имеет две стороны, которые могут быть названы художественной и эстетической; художественная относится к тому, что создано автором, а эстетическая – к эстетической реализации, достигаемой читателем. Из этой полярности следует, что литературная ра

---

<sup>1</sup> McCloskey, D.N. ‘Storytelling in Economics’, in Nash, C. (ed.) *Narrative in Culture*, London: Routledge, 1990, p. 19

бота не может быть полностью идентична тексту или реализации текста, а фактически должна лежать где-то посередине между этими двумя полюсами. Произведение – это больше чем текст, текст должен быть реализован, более того, реализация никоим образом не может быть независимой от позиции читателя, хотя позиция читателя может зависеть от разновидности текста».<sup>1</sup>

Философ Беркли сказал: «Быть – значит быть воспринятым». Чтение текста в этом смысле аналогично акту восприятия; именно чтение делает текст существующим, и этот акт творения в высокой степени индивидуален. ...С этой точки зрения читатели текстов (под читателями я понимаю и тех, кто смотрит телевидение или фильмы, участвует в видеоиграх и т.д.) играют более важную роль, чем это предполагается другими теориями. Однако теории, предполагающие реакцию читателя, сталкиваются с некоторыми проблемами, связанными с такими характеристиками читателей, как социальный класс или гендер. Кроме того, внутренняя реакция людей на то, что они читают или видят может не иметь ничего общего с такими вещами, как социально-экономический класс или образованность, но может быть напрямую связана с эмоциональным или физическим состоянием. Также может быть, что, несмотря на различия между нами в прочтении текстов, то общее, что мы находим в текстах, значит больше, чем различия в восприятии, связанные с разным уровнем образованности, культурным кодированием и т.д.

### ***Место нарративов в медиа***

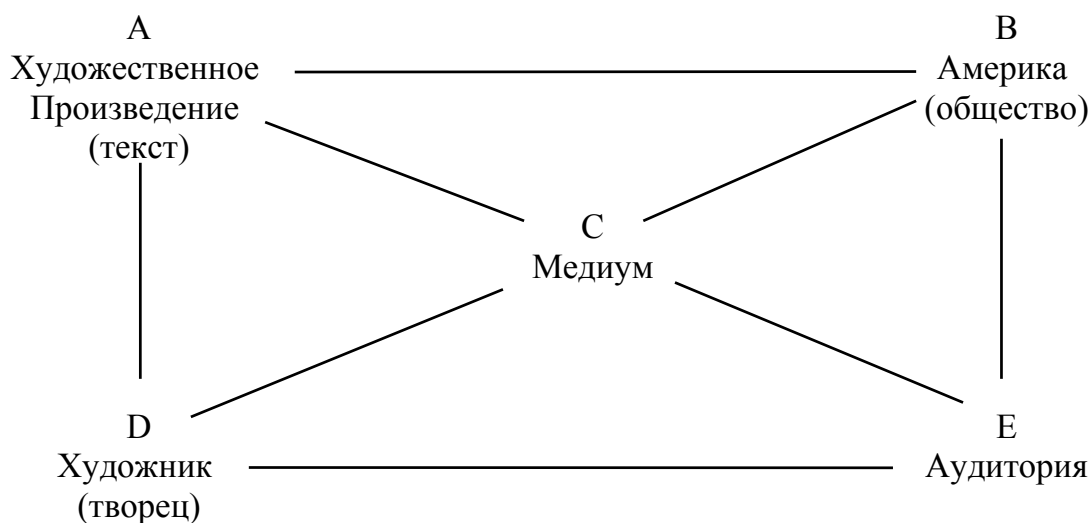
Позвольте мне предложить модель, которая помещает нарративы и в целом все разновидности текстов в более масштабный контекст... Тексты создаются отдельными людьми (или группами людей в тех случаях, когда становится необходимой кооперация, например, в киноиндустрии или телевидении) и рассчитаны на ту или иную аудиторию. Тексты обращаются к аудитории через определенный медиум: устную речь, радио, печать, телевидение, кино, Интернет и т.д. Все это имеет место в определенном обществе. (Многие произведения, однако, становятся действительно популярными в самых разных обществах. Некоторые комиксы или романы переведены на множество языков, а кинофильмы и телевизионные программы часто имеют аудиторию во многих странах.)

Таким образом, существует пять узловых точек, участвующих в процессе передачи текстов (табл. 2). Все эти узловые точки связаны друг с другом: мы можем рассматривать любой из этих пяти элементов в отдельности или же какое-либо их сочетание.

---

<sup>1</sup> Iser, W. 'The Reading Process: A Phenomenological Approach', in Lodge, D. (ed.) *Modern Criticism and Theory: A Reader*, White Plains, New York: Longman, 1988, p. 212

Таблица 2. Фокальные точки анализа медиа



Тексты, которые нас интересуют, – это нарративы, и в первую очередь нас интересует, как они работают, как они воздействуют на людей (аудиторию) и общество. Однако мы не можем исключить из рассмотрения ни один из пяти вышеназванных элементов, мы также должны учитывать связи этих элементов друг с другом. Например, медиум, посредством которого работает художник, сильно влияет на создаваемый им или ею текст и на то, как аудитория реагирует на этот текст. Разумеется, есть огромная разница между просмотром фильма в кинотеатре, показанном на большом экране и озвученном мощной аудиосистемой, и просмотром того же фильма на 19-дюймовом экране телевизора с 3-дюймовыми колонками.

Имеется еще один момент, который мы должны осознать: многие явления, которые не рассматриваются нами в качестве нарративных текстов, фактически являются таковыми или, по крайней мере, содержат сильный нарративный компонент. Если разговоры о болезнях, ...любовные истории и рассуждения по поводу психотерапии можно представить как нарративы, то это значит, что все вышеописанные явления имеют определенные характеристики и следуют определенным правилам, которые характерны для того, что обычно называется нарративом, – для таких текстов, как сказки, пьесы, рассказы, романы, фильмы и песни.

## Пьер Бурдьё Понимание<sup>1</sup>

Статья Пьера Бурдьё «Понимание» («Comprendre»)<sup>2</sup> была опубликована в 1996 г. в англоязычном журнале «Теория, культура и общество»<sup>3</sup>. В ней Бурдьё продолжает рассматривать проблемы, поднятые в известном российскому читателю эссе «Общественного мнения не существует»<sup>4</sup>. Кроме того, работа позволяет еще раз обратиться к социальной теории Бурдьё и ее отношению к конкретным исследованиям.

Бурдьё показывает возможную опасность «с готовностью анализировать сфабрикованный самим исследователем артефакт» (стр.20). Опасность заключается в сборе информации, имеющей своей методологической основой позитивистский подход – традиционное формализованное интервью. Предлагаемая автором “социология социологии” или “рефлексивная социология” призвана решить поднятую им проблему объективности. Подход к данному вопросу отличается как от позитивистского взгляда, так и от методологического индивидуализма. Социальная теория Бурдьё пытается разрешить многочисленные социологические дилеммы. Бурдьё оперирует такими понятиями, как “рефлексивность”, “наложение”, “объективизм”, и, наконец, “символическое насилие”. Автор определил цель статьи следующим образом: «не умножать и без того большое количество литературы по технике исследования, но описать изъяны традиционной процедуры» (стр.17). В отличие от традиционного позитивистского подхода Бурдьё не претендует на создание социальной теории, содержащей надежные способы получения объективной информации о социальном мире. Взамен он предлагает методы, отслеживающие влияние самого аналитика на результаты своего исследования и уменьшающие, насколько возможно, эти искажения.

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение Л.Вершининой по: Bourdieu, P. ‘Understanding’, in *Theory, Culture and Society*, SAGE, 1996, Vol. 13(2): 17–37.

<sup>2</sup> См.: Bourdieu, P. *La Misere du Monde*, Paris: Seuil, 1993, pp. 903–925.

<sup>3</sup> Журнал «Теория, Культура и Общество» основан в 1982 г. Его публикации ориентированы преимущественно на социологию культуры и социальную теорию. Журнал берет за основание традиции классиков социальной мысли и отслеживает пути дальнейшего развития социальной теории. Издатели гордятся регулярными интервью с такими признанными авторитетами в социальной теории, как Ю.Хабермас, Ж.Бодрийар, Э.Гидденс, Ж.Лиотар, наконец, П.Бурдьё. Кроме рассматриваемой здесь работы «Понимание», в журнале опубликовано пять других не менее интересных статей П.Бурдьё. – Л.В.

<sup>4</sup> См.: Бурдьё П. Социология политики. М., 1993. – Л.В.

К основным изъянам стандартизированного интервью автор относит “символическое насилие”<sup>1</sup>. Опорной точкой символического насилия является отказ от признания, что все действия являются заинтересованными; такой отказ по-другому можно назвать “ложное сознание”. Кроме того, любое мероприятие гораздо легче осуществить, если скрыть его заинтересованный характер. Вера в объективность и незаинтересованность социологического исследования также является примером ложного сознания, так как она отвергает заинтересованный характер действий социолога, что в свою очередь вносит искажение в исследование.

Каким образом возможно насилие в ходе традиционного интервью? Интервью следует рассматривать как один из видов социальных отношений, когда символическое насилие в процессе интервью кроется в самой структуре социальных отношений между интервьюером и респондентом. Стандартизированное интервью неизбежно влечет ряд асимметрий в таких отношениях. Во-первых, интервьюер и респондент обладают разным лингвистическим капиталом. Часто можно заметить большую разницу между академически почитаемым языком интервьюера и языком опрашиваемого, не обладающего таким капиталом, чья речь насыщена преувеличениями, многочисленными ссылками на частные случаи<sup>2</sup>.

Другая асимметрия заключается в том, что интервьюер диктует правила игры: он определяет форму и содержание коммуникации. А поскольку разница между позициями интервьюера и респондента в социальном пространстве нередко велика, то вопросы, которые важны с точки зрения участников социальных отношений, оказываются разными. Важно как можно сильнее сократить социальную дистанцию между исследователем и опрашиваемым или, выражаясь словами автора, «подчиниться ее<sup>3</sup> [респондентки] жизненной истории, ...поддержке ее мыслей и чувств» (стр. 20). Традиционное интервью, привязанное к опроснику, делает это невозможным, неизбежен “эффект наложения”: вопросы, продиктованные социальной позицией самого исследователя, интересами его интеллектуального поля, “выуженные” ответы – все это ведет к анализу сфабрикованного самим исследователем артефакта. Исследователь должен придерживаться позиции внимательного

---

<sup>1</sup> Обратившись к другим статьям автора, можно заметить, что в целом это понятие сходно с термином “идеология”, означающим навязывание особого понимания мира и адаптации к нему в замаскированной, само собой разумеющейся форме. Бурдье показывает сдвиг от физической власти к политической, а отсюда сдвиг от насилия физического к насилию символическому. – *Л.В.*

<sup>2</sup> В интервью, приводимых Бурдье, респондентами выступали рабочие-иммигранты, чей статус был очевидно ниже статуса интервьюера. – *Л.В.*

<sup>3</sup> В английском переводе работы Бурдье безличная форма переводилась всегда женским родом. – *Л.В.*

слушателя. Но при этом не стоит занимать и крайне отстраненную позицию “невмешательства” в случае с ненаправленным, неструктурированным интервью.

Необходимо собрать как можно больше информации *перед* интервью. Один из возможных способов избежать эффекта наложения – выбирать респондентов, лично знакомых интервьюеру. Социальная близость позволит осуществить ненасильственную коммуникацию. Имея всю необходимую информацию о респонденте, интервьюеру проще выбрать соответствующие содержание и форму коммуникации. Отмеченный подход иногда доводится до крайности: врач должен опрашивать врача, студент – студента, безработный – безработного и т.д. Подобную позицию можно найти у исследователя У.Лабова (William Labov). Несмотря на преимущества такого подхода, предполагающего доверительные отношения между интервьюером и респондентом, опасен эффект, обратный наложению. Опрашивающий и опрашиваемый имеют между собой слишком много общего, так что критическое осмысление происходящего становится затруднительным. Интервью, в котором снижено влияние интеллектуального поля исследователя до минимума, оказывается приближенным к ситуации повседневного общения. Но, несмотря на то, что интервью должно быть естественным дискурсом, оно представляет собой еще и дискурс научно сконструированный. Поэтому стратегия У.Лабова имеет свои недостатки.

Одним из возможных приемов разрешения обозначенной выше диллемы является “духовное упражнение”: интервьюер должен мысленно поставить себя на место опрашиваемого и проводить интервью, глядя на ситуацию его глазами, не претендуя при этом на полное избавление от социальной дистанции. Такой подход отличается от подхода, предложенного феноменологами, то есть, от “проекции одного в другое”. В отличие от последнего, необходимо проследить особую траекторию респондента в социальном пространстве. После чего важно поместить респондента в обстановку, соответствующую его позиции в социальном пространстве. Опубликованные же интервью представляют зачастую случайные встречи, где явно заметна недостаточная информированность интервьюера о респонденте. Подробные сведения о последнем помогают выделить среди проблем те, «в которые респондент окажется погруженным насильственно, и те, которые свойственны его социальному положению», к примеру, поля, в которые он помещен (стр. 23). Иными словами, можно избежать неуместных вопросов, над которыми респондент сам никогда не стал бы задумываться. Важно помнить как до, так и после интервью, что дискурс-анализ разбирает каждый дискурс не только в категориях структуры взаимодействия в качестве обмена информацией, но и в категориях невидимых структур, которые организуют этот дискурс. По-другому, подробная информация о жизненной истории респондента, о его месте в социальном пространстве делают содержание интервью более прозрачным.

Говоря о проблемах социологического интервью, мы неизбежно трагиваем проблемы повседневного общения. Интервью, как и повседневный разговор, часто сводится к ритуализированной беседе, когда уникальная жизненная история теряется за безличными клише «Как дела?» – «Хорошо». Роль “духовного упражнения” заключается в том, чтобы прорваться сквозь ширму таких клише<sup>1</sup>. Сам автор так определяет духовное упражнение: «Рискуя шокировать и строгого методолога, и вдохновенного герменевтика, я бы сказал, что интервью может быть рассмотрено как тип духовного упражнения, нацеленного (через самозабвение) на настоящую трансформацию видения других в обыденной жизни» (стр. 24). Необходимо избавиться от усыпляющего чувства, что все это уже когда-то было, с тем, чтобы увидеть «в каждой жизненной истории уникальность при всей ее общности» (стр. 23). Исследователь должен быть настроен на интервью, как на давно созревший, однако не имевший условий для реализации дискурс респондента. Роль интервьюера заключается в том, чтобы создать такие условия: не быть ограниченным во времени, быть готовым к выражению нужд, тревог, требований опрашиваемого. При этом респонденты часто используют предоставленную возможность, переводя свой личный жизненный опыт из частной области в публичную сферу, конструируя свою точку зрения на себя и на мир.

Недостатки традиционного формализованного интервью не исчерпываются только ходом интервью. Сложности возникают также при его транскрибировании и публикации. Объективность и научность последних не сводятся лишь к точному изложению сказанного. Следует освободиться от "иллюзии дискурса, который говорит сам за себя" (стр.30). Переход от устной речи к письменному тексту сам по себе подразумевает интерпретацию. Опущенная или, напротив, поставленная запятая может изменять смысл предложения. Невозможно отразить на письме темп речи, интонации, жесты, жесты, жесты. Сложно передать иронию (выражающуюся часто, как несоответствие между знаками тела и вербальными знаками), некоторые двусмысленности. Кроме того, публикуя интервью, исследователь следует требованиям анонимности, опуская при этом очень важную информацию о респонденте. Без такой информации многие важные факты остаются незамеченными, либо опускаются как незначимые. Поэтому для социолога вмешаться в презентацию интервью означает дать необходимые пояснения, исходя из имеющейся информации о респонденте и о ситуации самого дискурса. Это сложно и одновременно очень важно. «Выбрать позицию невмешательства с целью не налагать ограничение на свободу читателя значит забыть о том, что при любых условиях чтение если и не ограниче

---

<sup>1</sup> В данном случае можно заметить параллель с бергеровским “срыванием масок” (см.: Berger, P. *Invitation to Sociology: a Humanistic Perspective*, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1993). – Л.В.



но, то ориентировано разработанными схемами» (стр. 32). Автору письменного изложения интервью необходимо наделить читателя нужными средствами, чтобы выработать соответствующую позицию по отношению к словам, используемым в интервью, которые тот будет читать. В таком случае читатель сможет поставить себя на место, занимаемое респондентом в социальном пространстве или, выражаясь словами П.Бурдьё, “побывать в его шкуре”.

В целом любая символическая система предполагает символическое насилие – в том числе и наука<sup>1</sup>. К примеру, в социологических исследованиях это проявляется при объяснении социальных феноменов – частные эпистемологические заключения сводятся к объяснению социальных явлений. К тому же социолог при этом следует интересам своего “научного поля”. Возникает вопрос, каким образом возможно избежать того, чтобы социальная наука становилась дополнительной формой символического насилия. В качестве решения проблемы П.Бурдьё предлагает упоминавшуюся выше “социологию социологии” или “рефлексивную социологию”<sup>2</sup>. Рефлексия призвана выявлять эффекты доминирования, чтобы таким образом обеспечивать контроль над ними. Что же необходимо отрефлексировать при социологическом исследовании? Ответ на этот вопрос можно встретить в этой и других работах автора.

Во-первых, необходимо проследить, чтобы наши ценности, предрасположенности, восприятие не проецировались на объект исследования. Отсюда необходимость критического взгляда исследователя на самого себя. Важно выявить свое место в социальном пространстве и предусмотреть возможное его влияние на исследование (выбор методов, объяснительных концепций и т.д.)<sup>3</sup>. Таким образом, следует подвергнуть анализу не только объект исследования, но и самого аналитика.

Во-вторых, необходимо помнить об интеллектуальном поле самого исследователя. Социолог нередко мотивирован практическими интересами своего поля – стремлением к признанию в академической среде, поэтому соревнование в научной среде также оказывает влияние на ис

---

<sup>1</sup> Статья «Понимание», опубликованная в англоязычном журнале представляет перевод лишь одной части работы П.Бурдьё “*La Misere du Monde*”. Обзор всей работы автора, опубликованный на английском языке представлен Б.Фаулером (см. Fowler, B. An introduction to Pierre Bourdieu’s ‘Understanding’, in *Theory, Culture and Society*, SAGE 1996, Vol. 13(2): 1-17). Обобщая такие концепции Бурдьё, как “наука как вид символического насилия”, “рефлексивная социология и ее приемы”, “рациональность”, можно опереться на всю работу автора, на другие его статьи и книги, а также сослаться на аналитиков работ Бурдьё, в частности, Д.Шварца (см.: Shwartz, D. *Culture and Power: Sociology of Pierre Bourdieu*, The University of Chicago Press, 1997. – Л.В.

<sup>2</sup> См. об этом также: Bourdieu, P. *Homo Academicus*, Stanford University Press, 1988. – Л.В.

<sup>3</sup> Исходная посылка такого рассуждения – это положение о том, что любая мысль социально обусловлена. – Л.В.

следование. В борьбе за признание в научном мире претензия на объективность и нейтральность являются определенным оружием. Заявление об объективности социального исследования – это отказ признать заинтересованный характер поведения ученого, который сформирован логикой борьбы за признание в рамках его культурного поля.

До сих пор речь шла о способах контроля и возможностях снижения эффектов, вносящих искажение в интервью. Не стоит при этом переоценивать возможности социолога. Одна из проблем заключается в том, что сами респонденты пытаются играть на таких эффектах. Здесь мы сталкиваемся с таким феноменом как “сопротивление объективированию”. Респонденты осознанно или неосознанно пытаются навязать интервьюерам свое видение ситуации, свой образ себя. Они находят разные способы справиться с теми ограничениями, которые накладывает на них ситуация интервью, беря тем самым процесс собственного объективирования в собственные руки. Автор разбирает такие приемы (надо отметить, не без иронии) в своей статье: «Интервью, как можно заметить, превращается в монолог респондентки, в котором она сама задает себе вопросы, сама дает на них ответы, иногда останавливаясь, чтобы перевести дыхание, навязывая исследовательнице (которая очень довольна тем, что происходит) не только проблематику интервью, но и свой стиль. Респондентка при этом исключает любое обследование объективных фактов ее жизненной траектории, отличных от автопортрета, который она желает предоставить интервьюеру» (стр. 27).

Рефлексивная социология П.Бурдьё достигает кульминации в объективном подходе к самому намерению сделать науку объективной, отказаться от “плохой веры” (в понимании Ж.-П.Сартра) или “ложного сознания” (в понимании Бурдьё). Социальная практика должна превратиться из профессиональной идеологии в науку. Как отмечалось выше, в социальной науке это реализуется путем критического анализа не только объекта исследования, но и субъекта.

Такой подход к исследованию (и к интервью в частности) объясняется подходом П.Бурдьё к социальным наукам<sup>1</sup>. Рефлексивная социология отличается от других общественных наук тем, что она требует от себя сомнений в виде вопросов, которые она сама перед собой ставит. Здесь Бурдьё также пытается избежать дилемм субъективизм–объективизм или позитивистский–этнометодологический подходы<sup>2</sup>. Поскольку социология отличается от обычного здравого смысла, то ее можно поставить в ряд других наук<sup>3</sup>, однако не стоит прибегать и к упрощен

---

<sup>1</sup> См. также: Bourdieu, P., Wacquant, L. *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press, 1992. – Л.В.

<sup>2</sup> О разрешении этих дилемм П.Бурдьё см.: Shwartz, D. *Op.cit.* – Л.В.

<sup>3</sup> Об отличии социологии от здравого смысла см.: Bauman, Z. *Thinking sociologically*, Blackwell, 1990. – Л.В.

ному позитивизму. Важно помнить, что социальные научные мысли имеют исторический характер<sup>1</sup>. Бурдьё отмечает возобновляющуюся смену новых критических взглядов на устоявшиеся знания. Отличие в том, что Бурдьё переводит этот вопрос в политическую и этическую плоскость. Общепринятые знания имеют непосредственную связь с некритично воспринимаемым миром властных отношений, отношений доминирования. Этим объясняется скептическое отношение Бурдьё к консенсусу в науке<sup>2</sup>. Таким образом, отличие социальных наук от естественных заключается в том, что социальные знания имеют исторический и политический характер, поэтому социальным наукам не удастся избавиться от внешних сил в отличие от наук естественных.

С одной стороны, Бурдьё подчеркивает исторический характер разума, который не является врожденным, укорененным в рассудке или языке. С другой стороны, несмотря на его историчность, разум способен воспроизводить такие формы знания, которые способны преодолевать его историческую ограниченность<sup>3</sup>. Осуществляется это при помощи рефлексии или социологии социологии, приемы которой были рассмотрены выше. В этом заключается еще одно отличие взглядов Бурдьё от взглядов Томаса Куна, для которого критерии истинного утверждения неизбежно связаны с существующей на данном этапе «парадигмой». Роль социальной науки в отличие от естественных дисциплин заключается в том, что полученные при ее помощи знания о детерминирующих факторах наших практик помогают человеку обрести свободу.

*Лаура Бовоне*

**К проблеме постмодерна:**

**тенденции развития общества и социология<sup>4</sup>**

---

<sup>1</sup> При этом видение истории социальных наук у Бурдьё несколько отличается от взглядов Т.Куна (см.: Khun, T. *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, 1964). – Л.В.

<sup>2</sup> Бурдьё также пишет об этом следующим образом: «Истинное научное поле – это пространство, где исследователи согласны лишь в несогласии в инструментах, которыми это несогласие можно разрешить – больше ни в чем» (см.: Bourdieu, P., Wacquant, L. *Op.cit.*). – Л.В.

<sup>3</sup> Д.Шварц замечает двойственную позицию П.Бурдьё по отношению к западному Просвещению, к рациональности Просвещения (см.: Shwartz D. *Op.cit.*). – Л.В.

<sup>4</sup> Реферативное изложение Л.Иликовой по: Bovone, L. *In tema di postmoderno. Tendenze della societa e della sociologia*, Vita e pensiero, Milano 1990. pp. 57–73.

В социологии постмодерна и теории коммуникации красной нитью проходит мысль о том, что реальность становится неотличимой от методов, заставляющих ее казаться таковой. Речь идет о конструировании реальности, что для каждого основывается на субъективном опыте и переживаниях. Фундаментальная сфера смысловых значений конституирована “жизненным миром” повседневности, системой “диспозиций знания”, которые мы воспринимаем как intersубъективные, социально сконструированные, позволяющие нам ориентировать наши действия. С другой стороны, сам “жизненный мир” создается как социальный конструкт. Строго говоря, просто фактов больше не существует, теперь это всегда факты интерпретированные.

Но если факты всегда интерпретируются по-разному, то появляется множество определений “реального”, “действительного” и т.д. В таком случае появляется необходимость сохранить единое определение реальности. Ключевая роль в процессе создания и сохранения реальности, очевидно, должна принадлежать коммуникации.

В этнометодологической традиции реальность не отличается от методов, заставляющих ее казаться таковой, всякая социальная ситуация должна изучаться как самоорганизующаяся, так как она создана методами, использованными самими участниками этой социальной ситуации. Драматургический подход Гоффмана характеризует социальное конструирование реальности как результат “интерактивного порядка”, который устанавливается в “театре повседневности” – именно так Гоффман определяет жизнь. Теория социальной структуризации Гидденса описывает процесс социального производства, возводимый до уровня интеракции, в которой различаются три фундаментальных момента: придание смысла, установление морального порядка и собственно оперативный момент отношений иерархии.

### ***Смысл субъекта и повседневное знание***

Постепенно утрачивается важность субъективной интенциональности как основы действия, решающего фактора для субъекта. На авансцену выходит интенциональность феноменологического типа с ее приоритетом “повседневной жизни”. Сам субъект абсорбируется “повседневным знанием”<sup>1</sup>, становится членом операциональной структуры, а его роль и компетенция становятся адекватными интерактивному порядку. Действию как таковому смысл уже не приписывается, он возникает во взаимодействии, а *posteriori*. В сравнении, для Вебера смысл всегда субъективен, так как действующий субъект сам приписывает смысл и интенциональность своим действиям, а наблюдатель лишь проникает в эту интенциональность. В социологии постмодерна различается субъективный смысл увиденного – ни

---

<sup>1</sup> В английском “общий смысл” – *common sense*, что понимается и как “здравый смысл”, и как “повседневное, обыденное знание”. – *Прим. ред.*

когда полностью не постижимый ни одним субъектом – и смысл объективный, реконструируемый только *a posteriori*, саморефлексирующий или проинтерпретированный в символических значениях “других”.

С другой стороны, интенциональность в феноменологическом смысле – от Brentano, Husserl и Schütz до Bergson и Lukman – является характеристикой не действия, а мысли, которая всегда есть “мысль о чем-то”. Повседневное знание состоит из знаний-аксиом о нашей диспозиции в жизненном мире, который есть «с самого начала intersубъективный мир культуры, ... структура значений, которую нужно интерпретировать» (с. 64).

Для этнометодологии отправным пунктом является повседневное знание, на базе которого дается обобщенный багаж знаний “для считывания”. Именно это позволяет продлить практику интеракций. Драматургический подход также отдаляет нас от понимания смысла как интенциональности индивида, преследующего стратегическую цель; смысл рождается во взаимодействии, из “правил интеракции” (гоффмановское “сохранить лицо”). Таким образом, не существует индивидуального смысла, отличного от “общего” смысла. Гидденс так же рассматривает в качестве объекта социологии не субъектов, а социальные практики. При этом он считает, что общественное производство возможно лишь в условиях компетентной и творческой деятельности его членов, использующих определенные ресурсы. То, что в действительности наполнено смыслом, – это не действие одного индивида, а всегда интерактивный процесс, по большей части имплицитная “договоренность о смысловых значениях”.

### ***Рациональность a priori и рациональность a posteriori***

Определение рациональности также меняется в постмодерном направлении. Здесь рассматривается действие, рациональное действие и рациональность “средства–цели”. Именно последняя рассматривается как практически исключенная из повседневной жизни.

Основной тезис гласит: в нашей повседневной жизни мы очень редко действуем рационально. Конечно, та типизация, с помощью которой мы образуем окружающий мир, это своего рода рационализация, но никак не “целерациональность”. Только осмысляя прошлое, мы можем говорить о том, что нами были использованы средства, соответствующие поставленной цели. Рациональность такого типа никогда не касается одного единственного действия, а всегда только “системы рациональных действий”. Существует действие как бы “по плану”, но смысл действия основывается на рефлексии предшествующей деятельности, а это еще не означает реальной возможности выбирать способ достижения поставленной цели. Парадоксально, но воображение субъекта использует в качестве объекта не ход действия в его продолжительности, а действие “якобы совершенное”, а поэтому доступное рефлексивному взгляду.

В концепции рефлексивности немаловажная роль принадлежит этноме

тодологии, с ее эффектом слияния процесса рефлексии реальности с самой реальностью. Настоящая “компетентность” – это ретроспективное определение уже принятых решений; адекватность не ищется, она “накладывается”. Выстраивается концепция рационализации как реконструирования порядка. Пример можно проиллюстрировать концепцией Гоффмана: устанавливать правила для “актера” означает находить оправдания и рационализировать то, что уже совершенно.

### ***Мораль и практика***

Проблема морали всегда рассматривается в корреляции с динамикой развития человечества. Проблема морали – это всегда проблема выбора. Выбор не является полностью свободным, чаще всего это альтернатива инструментальная или ценностная; она или зависит от критерия значимости, в свою очередь зависящего от уровня знаний, или автоматически изменяется в соответствии с требованиями повседневной практики. В этом случае есть два варианта решения проблемы морали: с одной стороны, сведение смысла морального к смыслу когнитивному, с другой стороны, его трансформация в смысл практический, более всего схожий с правилами выживания.

В социологии постмодерна мораль теряет какой бы то ни было драматический акцент: ценности составляют часть символического багажа определений реальности, моральный порядок совпадает с общим смыслом, с коммуникативными практиками, которые его конституируют и определяют; правила же возникают во время “спектакля, представления”, эти правила подлежат свободному обсуждению, о них можно договориться.

Шюц и Лукман рассматривают мораль в контексте коммуникации, в отношениях “лицом к лицу”. В повседневной жизни всегда есть место множественности точек зрения, которые, тем не менее, не препятствуют движению вперед, никоим образом не нарушают коммуникативный процесс. Два понятия: практичность и значимость, теперь определяют индивидуальный выбор, этот некий когнитивно-практический коктейль, отчасти детерминированный биографией, отчасти воссозданный рефлексивно, вносящий рациональность в совершенный уже выбор. С такой точки зрения, ценности не отличаются по сути от “определений реальности”, оформленных в символические универсумы, от социального багажа знаний легитимизированных, и потому имеющих принудительную силу. В повседневной жизни мораль совпадает с “повседневным знанием”, с практиками, которые его составляют.

Для Гоффмана театр повседневности существует настолько, насколько мы верим в моральный мир. Однако в силу своего “актерства” индивиды заинтересованы не столько в проблеме морали, сколько в том, чтобы создать убедительное впечатление. Кроме того, необходимо различать “этику”, которая управляет “субстанциальными правилами и выражениями” и “этикет”, управляющий “церемониальными правилами и выражениями”.

ям”. При этом социальный контроль не может быть ничем иным как “искусством контролировать впечатления”.

В концепции Гидденса метафора театра заменяется метафорой рынка. В рыночном взаимодействии определяются моральные значения и правила, и эта двойная структуризация порождает дисбаланс. При этом ввиду вероятности бесконфликтного решения нормативная адекватность теряет драматичность.

### ***Планирование и повседневная жизнь***

Современная социология стоит на пороге смещения всех уровней анализа, которые классическая социология привыкла разделять: онтологии и эпистемиологии, онтологии и этики.

Внимание к аспектам повседневности со стороны социологии – это не только переоценка знания о “повседневности”, “повседневном знании”, но и переоценка “идеального типа” действия: появляются категории действия “спонтанного”, “рутинного”, незапланированного, не ставящего своей целью “изменить “мир”. В классической социологии действие было “спроектировано” на базе знаний субъекта, вписано в систему “цель–средства”.

В социологии коммуникации действие как категория не исчезает. Оно совпадает с предполагаемым “проектом”, но такой проект действия – это скорее рефлексия уже совершенного, в некотором роде научная рационализация. Согласно Гарфинкелю, действие – синоним повседневной практики индивидов. Для Гоффмана действие – это способность выдержать напряжение ситуации, адекватно “ответить на вызов”, умение производить впечатление. Согласно Гидденсу, действие – это интерактивная практика структурирования смысловых значений, обсуждение правил и иерархических отношений.

Объект теории действия – это всегда проект действия, действие в какой-то мере растянутое во времени, переход из настоящего в будущее, совершаемый субъектом в соответствии с поставленной целью, стремление “изменить ход вещей”. Объект теории коммуникации – “спектакль повседневной жизни”, самопрезентация, динамика, подчиняющаяся правилам интеракции, созданным самими же участниками взаимодействия.

Действие в классической социологии ориентировано не столько на настоящее, сколько на будущее; оно предсказуемо, ограничено обстоятельствами и временем. В коммуникации же действующий субъект, “актер” – обязательный элемент коммуникативного процесса, которым ограничивается его поле зрения. Коммуникативный процесс – это вся реальность, которой он располагает, источник “моральности”, представляющей в готовом виде в повседневной практике, “моральности”, не несущей драматичности и не апеллирующей к его (субъекта) ответственности. Субъект еще упоминается, но он не является более объектом социологии, точно так же, как таким объектом не являются ни социальная система, ни действие. Обьек

том теории коммуникации становятся “социальные практики”, моменты взаимодействия, дискурсы, общение, в котором невозможно или практически бесполезно выделять главные действующие лица.

Социология постмодерна стремится осветить те сферы повседневной жизни, которые были в тени классической социологии. Остается, однако, вопрос, удастся ли социологии постмодерна в свою очередь охватить всю реальность; достаточно ли тех представлений о реальности, которые она использует для составления целостной картины. Это проблема, с одной стороны, теоретическая, а с другой – этико-практическая. Вопрос в том, чтобы понять, действительно ли “человек постмодерна” живет без заранее определенного плана? С другой стороны, возможно ли в этом случае социальное выживание?

С теоретической точки зрения прежде всего нужно оценить адекватность коммуникативного подхода реальному состоянию современного общества. Можно много критиковать коммуникативный подход, говоря, что он стремится свести всю социологию к теории коммуникации. Но по сравнению с теорией действия теория коммуникации имеет одно преимущество – она не декларирует себя в качестве всеохватывающей теории. Вероятно, когда ее амбиции в познании повседневной жизни и интерактивных микропроцессов будут исчерпаны, социология коммуникации уступит место другим, интегративным подходам.

*Джованни Сартори*

## **От социологии политики к политической социологии<sup>1</sup>**

### ***Постановка проблемы***

Выражение “социология политики” означает, что речь идет об определенном участке общего поля социологии – подобно тому, как это имеет место, например, в социологии религии. ...Говоря о социологии политики, мы ясно указываем на то, что вся структура, подход или направление исследования являются социологическими. Напротив, выражение “политическая социология” ясностью не отличается. Оно может использоваться в качестве синонима социологии политики, а может означать и что-то другое. При использовании термина “политическая социология” не раскрывается объект исследования.

(...) Вряд ли можно отрицать, что научный прогресс социальных наук является следствием их ...специализации. ...Проблема заключается в том,

---

<sup>1</sup> Перевод М.Руденко по: Sartori, G. ‘From the Sociology of Politics to Political Sociology’, in *Government and Opposition*: 4, 1969, pp. 195–214.



чтобы добиться оптимального сочетания выгоды как от специализации, так и от взаимообогащения. Существует несколько путей решения этой проблемы. ...Решение, которое говорит само за себя, ...состоит в наведении мостов, т.е. в создании междисциплинарных гибридов различных дисциплин. Тем самым ...между ними разрушаются барьеры, и при этом не устраняется специфика дисциплин, не происходит утрата их идентичности.

(...) Как же нам провести водораздел между социологией и политической наукой? ...Социология может быть определена как дисциплина, для которой характерно рассмотрение изменяющихся социально-культурных условий. ...Политология же является дисциплиной, изучающей изменение условий политико-структурных. Для социолога в качестве объективных параметров – причин, детерминант или факторов – выступают в основном *социальные* структуры, тогда как для политолога ими являются как правило структуры *политические*.

(...) Формальная теория социальной системы заканчивается там, где начинается формальная теория политической системы.

После установления границы между политологией и социологией встает вопрос и о ...наведении междисциплинарных мостов. Одним из таких мостов является *политическая социология* при обязательном, однако, условии, что она не будет пониматься как синоним социологии политики. Политическая социология является междисциплинарным гибридом, пытающимся сочетать анализ социальных процессов с анализом процессов политических, т.е. объединять вклад социолога с вкладом политолога. Социология же политики является *социологической редукцией* политики.

### **Социология партий**

В основном политическая социология ...изучает отпечаток, налагаемый социальными классами и стратификацией на политическое поведение. ...Вопрос “представляют ли партии классы?” предполагает, ...что нас интересует проблема принадлежности голосующего к тому или иному классу, что определяет его поведение на выборах...

(...) Вкладом социолога в изучение партий является анализ того, каким образом партии и партийные системы ...отражают социальную стратификацию, ...социально-экономические и социокультурные различия, степень разнородности и интеграции, уровень экономического роста и т.п. ...Как указывает Липсет [Lipset], у этой проблемы есть три стороны: 1) классовые *симпатии*, 2) поддержка, основанная на [исторически сложившейся] идентификации [класса с определенной партией], 3) действительное выражение классовых интересов. (...) Таким образом, перед нами встает проблема *репрезентации классовых интересов*. Липсет к этому вопросу подходит весьма осторожно; тем не менее, в литературе довольно часто встречается утверждение о том, что “партии действуют в качестве представителей различных классовых интересов” ...Принимая во внимание самодостаточ

ность высказываемых многими социологами заявлений такого рода, я бы хотел указать на их туманность, историческую неверность и неприемлемость с научной точки зрения.

(...) Интерес того или иного класса может идти вразрез с интересами других классов, но может и совпадать с ними... В результате нам остается только догадываться об истинном значении теории классового интереса, равно как и о том, что же в действительности пытается сказать автор, разделяющий положения этой теории.

И если общая установка остается неясной, то без ответа остается и второй, более конкретный вопрос, а именно “что такое *классовый интерес*”?

Если под интересом подразумевать интерес экономический, то экономически обоснованная ориентация может быть приписана деятелю независимо от осознанного принятия последней им самим или его приверженности таковой в соответствии с его собственным восприятием личного интереса... Следовательно, только во втором случае экономические интересы могут служить причиной голосования исходя из принадлежности к классу, партиям классов и так к называемой *классовой политике*. (...)

Третьим, еще более сложным вопросом является вопрос о том, что мы понимаем под *представительством*. Согласно распространенной точке зрения, тысячи могут представлять миллионы в силу наличия у них “классовой позиции”, отражающейся в их “классовом поведении”. ...Однако, ... даже об *индивидуальном* репрезентативном поведении нельзя с уверенностью судить, исходя из классового происхождения и положения в обществе. (...)

Фантастическая нереальность утверждения о том, что целый “класс” “репрезентируется” ...такой сложной организацией, как массовая партия, была недавно очень убедительно показана Манкуром Олсоном [Olson]. Согласно его точке зрения, ...чем больше индивидов, преследующих свои личные интересы, и чем больше количество таких интересов, тем меньшее их число может быть представлено крупными организациями. Если члены большой группы осмысленно стремятся к максимальному улучшению своего индивидуального благосостояния, они *не* будут действовать в интересах достижения своих общих или групповых целей.

В заключение следует отметить, что теоретический статус *классовой социологии партий* остается низким. В первую очередь, явным злоупотреблением является концепция репрезентации. ...Партии связаны или могут быть связаны с социальными классами. (...) Отсюда можно заключить, что избиратели и лидеры связаны между собой состоянием социопсихологической эмпатии, однако не более того. (...) Эмпатия облегчает понимание, тогда как репрезентация порождает сложную проблему замены одного человека или группы людей другим человеком таким образом, чтобы представитель действовал в интересах того, кого он представляет. Отсюда следует полная необоснованность утверждения о том, что партии

“представляют” классы. В действительности мы можем только подвергать социологической проверке вопрос о том, “отражают” ли партии классовые интересы. Поэтому как в отношении “класса”, так и “интереса” для большей ясности не стоит вообще затрагивать понятие репрезентации.

Теоретический уровень классовой социологии партий неудовлетворителен и с учетом понятия “конфликт”. Здесь проблема состоит в отношении классов друг к другу. Большинство из нас склонны придерживаться “конфликтной модели”. Однако классовая теория конфликта в корне отличается от плюралистической теории конфликта. (...) Марксисты и плюралисты, рассматривая конфликт, имеют в виду различные явления. Описательное и оценочное значения этого слова в двух подходах очень сильно отличаются друг от друга, социология же политики в ее сегодняшнем состоянии смешивает их. (...)

Наконец, теоретическая нищета классовой социологии партий (и социологии политики) особенно бросается в глаза при рассмотрении самого понятия “класс”, которое непозволительно смешивают ...с понятием “статус”.

## РАЗДЕЛ II

# КОММУНИКАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ВЛАСТЬ

*Кит Тестер*

### Медиа и мораль<sup>1</sup>

(С. 82–83) ...Зачастую именно посредством медиа индивиды узнают о некоторых своих нравственных обязательствах перед другими людьми. Более того, можно утверждать, что в современной социокультурной ситуации именно посредством медиа формулируются нравственные проблемы и выражается обеспокоенность состоянием морали в обществе. ...В данном случае термин “моральный” я использую в его философском значении. С его помощью я обращаюсь тем к способам, с помощью которых мы различаем правильное или неправильное поведение...

(С. 83–84) ...Несколько странным может показаться суждение о том, что в исследовании сложной проблемы взаимосвязи медиа и морали социологами и даже философами сделано не так уж много. ...Одно из предложенных социологами выражений, проникших в повседневный язык – это “моральная паника”. Оно стало популярным благодаря книге Стенли Коэна, которая была впервые опубликована в 1972 г. Согласно Коэну, «общества то и дело подвергаются моральной панике»<sup>2</sup>. С тем, чтобы несколько усилить это положение, ...Коэн утверждает, что моральная паника может считаться имеющей место, когда «условие, событие, человек или определенные группы людей начинают характеризоваться в качестве угрозы социальным ценностям и интересам; ее природа представлена в стилизованной и стереотипной манере посредством масс-медиа»<sup>3</sup>.

(С. 84–85) ...Указывая на роль медиа в создании моральной паники, в более общем плане Коэн ...говорит о том, ...что ярлык девиантности на одни поступки наклеивается, а на другие – нет. ...При этом Коэн ...почти полностью игнорирует то, что моральная паника может иметь некоторое

---

<sup>1</sup> Перевод С.Маковой по: Tester, K. *Media, Culture and Morality*, Routledge, 1994, Chapter 4, pp. 82–105.

<sup>2</sup> См.: Cohen, S. *Folk Devils and Moral Panics*, London: Paladin, 1972, p. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

отношение не только к природе и смыслу девиации, ...но и к более широким социальным, политическим и экономическим факторам.

В некоторых работах представителей Бирмингемского Центра современных культурных исследований была сделана попытка соединить изучение моральной паники с исследованием политических и экономических проблем. Признание Бирмингемской школой выражения “моральная паника” в частности ознаменовалось выходом в свет книги «Как справиться с кризисом»<sup>1</sup>. Несмотря на то, что излагаемая в книге аргументация довольно сложна, а эмпирические данные довольно скоро переводятся на уровень теоретических утверждений, что типично для работ Бирмингемского Центра, ...основную идею книги можно сформулировать довольно просто: Стюарт Холл и его коллеги попытались объяснить, почему и каким образом такое преступление, как хулиганство, считалось в Великобритании серьезной проблемой в течение 1970-х гг.

(С. 85) ...Обратившись к проблеме моральной паники, Бирмингемский центр современных культурных исследований в значительной степени возвратил к жизни некоторые из тем Коэна с добавлением политического анализа и более утонченного теоретизирования.

Сегодня исследования моральной паники дают многое для понимания [процесса] отбора и конструирования новостей с помощью медиа. И все же этого не достаточно, ...потому что оба [упомянутых] исследования концентрируются исключительно на производственной стороне ...медиа-процесса. Они фактически очень мало говорят, или вовсе ничего не говорят о взаимоотношении между текстами медиа, создающими моральную панику, и аудиториями, которым, по-видимому, предназначено паниковать. Другими словами, исключив из своего анализа изучение аудиторий, и Коэн, и Бирмингемский Центр способствовали развитию несколько одностороннего представления о текстах медиа. Оба эти исследования ...предполагают, что наличие информации о моральной панике в текстах медиа автоматически приводит к ней среди зрителей и читателей.

(С. 86) ...Я не хочу говорить об относительно незначительных по масштабу моральных паниках... Было бы более интересно обсудить крупные проблемы: например, каким образом медиа создают *глобальные* проблемы, безусловно требующие от нас некоторого морального отклика; или – каким образом медиа передают нравственные ценности и в действительности влияют на само их содержание.

(С. 89) ...Все это далеко выходит за пределы обсуждения моральной паники. Это скорее вопрос о том, как медиа способны повлиять на наше нравственное сознание. Это вопрос о том, как медиа способны передавать и создавать проблемы, ...связанные с нравственными обязательствами со стороны аудиторий. Как сказал Майкл Игнатъев [Michael Ignatieff]<sup>2</sup>: «По

<sup>1</sup> См.: Hall, S. et al. *Policing the Crisis*, London: Macmillan, 1978.

<sup>2</sup> Известный британский тележурналист. – *Прим. ред.*

средством передачи новостей и представлений с участием “звезд”, таких как «Живая помощь», телевидение стало привилегированным медиатором, через него в современном мире опосредуются нравственные отношения между посторонними людьми».

(С. 90) ...Сильной стороной позиции Игнатьева является то, что он признает значимость вовлеченности медиа-текстов в диалог с медиа-аудиториями. ...Существует связь между его позицией и утверждениями некоторых представителей моральной философии. Я имею в виду, в частности, исследования Ричарда Рорти и его книгу «Случайность, ирония и солидарность»<sup>1</sup>.

(С. 91–92) ...Основной тезис Рорти заключается в том, что попытки *найти* главную причину, объединяющую в единое целое всех членов группы, являются бесплодными, поскольку ...солидарность должна быть *создана*. Солидарность индивидов, указывает Рорти, складывается тогда, когда один индивид способен увидеть в других индивидах подобных самому себе. Другими словами, солидарность имеет место, когда я считаю тебя похожим на меня во всем, что может иметь важное значение. Отказываясь от того, к чему традиционно склонялись представители моральной философии, Рорти говорит, что в его работе «солидарность не понимается как признание глубинного Я, человеческой сущности во всех людях». ...Он последовательно проводит мысль о том, что солидарность между индивидами – это «способность рассматривать традиционные различия (клан, религия, раса, обычаи и т.д.) как все более и более незначительные в сравнении с похожестью в отношении боли и унижения». Под этим подразумевается «способность думать о совершенно отличных от нас людях как о включенных в пространство “мы”»<sup>2</sup>.

...Рорти утверждает, что солидарность между индивидами и группами должна создаваться так же, как строится дом. ...Эквиваленты строительного оборудования нужно искать в таких вещах как романы, кинофильмы, газеты и телевидение. ...Именно благодаря этим разнообразным средствам коммуникации можно видеть, что люди, которые кажутся другими, фактически похожи на нас. Как таковые, медиа главным образом понимаются как каналы морального дискурса и вообще – как коммуникаторы, презентующие ведущие моральные ценности в целях создания солидарности. По мнению Рорти, «процесс, благодаря которому другие люди начинают рассматриваться скорее как “одни из нас”, а не как “они”, – требует детального описания того, каковы бывают чужие, и пере-описания того, каковы бываем мы сами. ...Это задача не теории, но таких жанров как этнография, журналистский репортаж, комикс, художественный и документальный фильм и, в особенности, роман»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См.: Rorty, R. *Contingency, Irony, and Solidarity*, Cambridge University Press, 1989.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 192

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. xvi

(С. 93–94) ... В большинстве своем медиа несомненно *могут* быть агентами морального прогресса и передачи моральных ценностей. Однако это вовсе не должно приводить к однозначному выводу о том, что медиа *действительно играют* эту роль.

(С. 103) ...Следует, вероятно, с большей осторожностью относиться к заявлению Ричарда Рорти о роли телевидения и медиа вообще в обсуждении нравственных проблем и вопросов человеческой солидарности. На ...несколько абстрактном уровне его позиция без сомнения является правильной и вдохновляющей. Однако ситуация вовсе не является ясной и определенной ни на обыденном уровне (что на самом деле значит смотреть телевизор), ни на уровне того, что в действительности означает сама телевизионная картинка. Изображение на телевизионных экранах и рассказы в книгах вовсе не обязательно могут предоставить хоть что-нибудь для дела морального прогресса.

(С. 104–105) ...[Изучение медиа и морали в более широком социальном и культурном смысле] должно строиться на понимании того, что медиа на в действительности не могут рассматриваться сами по себе, не могут быть отделены от более широкого социального и культурного контекста. Иначе говоря, любой анализ медиа и морали будет сводиться не только к диалогу между текстами и аудиторией (как склонны полагать Игнатъев и Йенсен), но также к сложной взаимосвязи между медиа, вопросами *ценностей* и приписывания ценностей. ...В этом случае вероятно станет возможным ...понимание того, что сделано медиа в отношении моральных ценностей; можно будет объяснить, почему своего рода моральная скука и апатия сохраняются в ситуации, когда технология казалось бы могла обеспечить наибольшую солидарность между людьми; ...почему аудитории медиа в конечном счете оказываются такими безучастными к тому, хорошо или плохо то, что они смотрят, делают, и что им как бы нравится.

*Чарльз Стюарт*

## **Толкование сновидений**

### **в социальной и культурной антропологии<sup>1</sup>**

[От переводчика. Поскольку целью моей было ввести заинтересованного читателя в проблематику почти не разработанную в нашей академической литературе, я позволил себе при переводе ряд “вольностей”, которые, надеюсь, будут мне простительны, поскольку все они призваны подчеркнуть специ

---

<sup>1</sup> Перевод Г.Мелихова по: Stewart, C. ‘Dreams’, in Barnard, A. Spencer, J. (eds.) *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, 2000, pp. 165– 66.

фичность антропологического подхода к толкованию сновидений, выделить его на фоне иных подходов, исторически и логически с ним связанных. Так, я рискнул, стараясь в целом не нарушать смысловой архитектоники статьи, ввести ряд терминов в оригинале отсутствующих, хотя соответствующее содержание автор подразумевает (очевидно, рассчитывая на подготовленного читателя). Во-первых, это термин “философия сновидения”, напоминающий нам о необходимости разработки онтологии сна, и в этой связи обслуживающий потребности теоретической философии или метафизики (пример таковой можно найти в книге: Малькольм Н. *Состояние сна*. М., 1993); во-вторых, “психологии сна” – подход, в основе которого лежит попытка понять сновидения, исходя из личного опыта сновидца, разрабатываемого, например, в рамках психоанализа (см.: Фромм Э. *Забывтый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов* // Фромм Э. *Душа человека*. М., 1992. С. 179–298), и наконец, “антропология сна”, – подход, в котором два предшествующих подхода преломляются в свете уникальности и многообразия самых разных культур и обществ; в своих снотолковательных опытах и в их осознании мы не можем не учитывать присутствия в символах сновидений множества контекстов, отражающих нашу социокультурную принадлежность.]

Сновидения – универсальный человеческий опыт, порождающий глубокие вопросы о сущности человека, замысле его судьбы и их познании. Сны интересуют человека с давних пор – с того самого момента, когда зародилась человеческая история. Первая дошедшая до нас книга о сновидениях – египетский папирус, датируемый примерно 2000 г. до н.э. Этот древнейший “сонник” представлял собой собрание приходящих во сне образов, сопровождаемых их толкованием. Все сны египтяне подразделяли на имеющие хорошие или плохие предзнаменования. Если, например, человек увидел себя во сне пьющим вино или вступающим в кровосмесительную связь со своей матерью, то это всегда считалось благоприятным знаком. Такой сон обычно указывал на добродетельное поведение сновидящего и предсказывал улучшение взаимоотношений с родственниками. Пить во сне теплое пиво или совокупляться с тушканчиком, напротив, – всегда плохо и свидетельствует о будущих страданиях и оговоре соответственно<sup>1</sup>.

Греко-римская цивилизация унаследовала египетскую традицию понимания снов как средства проникновения в сокровенный смысл будущего. Пожалуй, наиболее полным руководством по искусству толкования снов, своеобразным памятником той эпохи был труд профессионального оней

---

<sup>1</sup> См.: Lewis, N. *The Interpretation of Dreams and Portents*, Toronto: Samuel Stevens, 1976 [Об отношении древних египтян к сновидениям на русском языке можно прочитать в книге: Бадж У. *Египетская религия. Египетская магия*. М.: Алетейя, 2000. С. 330–332. – Прим. перев.]



рокритика<sup>1</sup> Артемидора (II в. н.э.). Артемидор был исключительно практиком, много путешествовал, и заметил, что содержание увиденных во сне образов изменяется под влиянием разных обстоятельств. Согласно его мнению, универсального языка сновидческой грезы не существует, и потому значение традиционных снотолковательных символов необходимо варьируется от случая к случаю<sup>2</sup>. В качестве примера Артемидор предлагал три различных толкования одного и того же навязчиво повторяющегося сна, в котором некий мужчина потерял свой нос. Первый смысл сновидения – возможное крушение в будущем парфюмерного бизнеса, в который оказался вовлечен сновидец; второй – предрекает, что сновидящий будет обвинен в подлоге и сослан (физическое уродство на лице указывают на позор, бесчестие того, чье лицо видится во сне); наконец, это сновидение предсказывает скорую смерть видевшего сон мужчины, поскольку череп мертвеца – один из символов смерти – лишен носа<sup>3</sup>.

Артемидор безусловно отдавал себе отчет в том, что крупнейшие мыслители, в особенности Аристотель и его последователи, не верили в предсказательную силу сновидений. С их точки зрения сны – плод всецело индивидуальных переживаний, субстрат ключевых состояний бодрствующего сознания, беспокойств и желаний, которые во время сна начинают спонтанно проявляться. Артемидор признавал эту скептическую традицию, предоставив ей место в своей классификации типов сновидений. Данные сны порождались вполне мирскими, психологическими и физиологическими причинами, такими как опьянение, гнев или несварение желудка, и назывались *enypnia*. Они ничего не говорили о будущем сновидящего, отсылали, главным образом, к текущим состояниям (переживаниям) его души и тела, и потому толковать их не стоило большого труда. Другие сны, прозванные *oneiroi*, носили собственно профетический характер, они-то и заслуживали особого внимания (хотя Артемидор оставлял открытым вопрос о том, могут ли эти сны быть посланиями богов людям). Следующие 1500 лет западная традиция колебалась между приятием сновидений как продукта индивидуальных физических или ментальных состояний и рассмотрением их как результата сверхъестественного вмешательства.

В связи с распространением христианства в Средние века, Церковь стремилась к упрочению своего авторитета, чему, в частности, способство

---

<sup>1</sup> Буквально – “толкователя сновидений”. Также – «Онейрокритика» (*Oneirocritica*) – называется «Сонник» Артемидора. – *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Как писал много позже Э.Фромм: «Толкование сновидений может быть различным в разное время и для разных людей». Цит. по: Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С.235. – *Прим. перев.*

<sup>3</sup> Artemidorus *The Interpretation of Dreams*, (tran., by R.J.White), Park Ridge NJ: Noyes Press, 1973. [Обстоятельный разбор снотолковательного метода Артемидора в контексте той эпохи и в связи с понятием *aphrodisia* (“дела Афродиты”, “любовные утехы”) можно найти в книге: Фуко М. История сексуальности – III: Забота о себе. Киев, Москва: Рельф-Бук, 1998. С. 7–44. – *Прим. перев.*]

вало положение, что пророческие сны могут иметь только посвященные. К сновидениям обычных мирян относились с подозрительностью – в них видели “послания дьявола”. Будущее, полностью находящееся во власти Божественного Промысла, открывало себя лишь тем, кто достиг несомненных спиритуальных успехов и к тому же развил определенного рода проницательность, позволяющую безошибочно различать, что в данном сновидении от Бога, а что имеет противоположную, демоническую направленность<sup>1</sup>.

В начале эпохи Просвещения вдумчивое отношение к сновидениям сыграло важную роль в смещении средневекового теоцентризма и установлении господства принципов нового естествознания. Сон Декарта от 10 ноября 1619 г. инициировал его медитации о том, что весь физический мир представляет собой не более, чем видения наших снов. Опровержение этой идеи на пути последующих размышлений привели философа к знаменитому *cogito ergo sum*<sup>2</sup> – краеугольному камню рационализма, основанию четкой дистинкции между ментальным и физическим мирами, между фантазией и реальностью. Сновидение, таким образом, становится отправной точкой западной эпистемологии, высвечивающей водораздел между ирреальными формами мысли и механически управляемым реальным миром.

Поскольку антропология в XIX столетии развивалась преимущественно под влиянием эволюционизма, картезианская<sup>3</sup> философия сновидения нашла себе новое приложение – в качестве средства различения “низших” культур и цивилизованных культур северной Европы. Как Э.Тайлор разь

---

<sup>1</sup> См.: Le Goff, J. *The Medieval Imagination*, Chicago: University of Chicago Press, 1988. [Подобное отношение к снам характерно и для святоотеческой традиции: «Сны лучше пропускать без внимания. Иные может быть и значат что-либо, но так как нам определить это точно не дано, а догадки можно настроить и обманчивые, и бесполезные, то лучше забывать их. Они на это и приговорены естественно, ибо обыкновенно забываются. К сведению примите, что сны бывают натуральные, бывают от ангелов и святых, бывают и от бесов. Которые от ангелов и святых, – мир душевный созидают и надолго оставляют его в душе; а которые от бесов, – мир в душе разоряют; свои же сны пустопорожни и беспорядочны. (Письма епископа Феофана. М., 1882)». – Цит. по книге: Жития и творения русских святых. М.: Современник, 1993. С. 342. – *Прим. перев.*]

<sup>2</sup> Мыслю, следовательно, существую. – *Прим. перев.*

<sup>3</sup> “Картезий” – латинизированная транскрипция имени Декарта (Renatus Cartesius). По всей видимости, автор, связывая картезианскую философию и эволюционизм, имеет в виду просвещенческую идеологию, характерную для большинства этнографических теорий XIX в., у истоков которой по общему признанию и стоял Декарт. Кратко суть ее можно выразить следующим образом: эволюция человеческого общества совпадает с эволюцией человеческого разума. Сначала человек не знал, например, дуализма субъективного и объективного, затем постепенно, в ходе своего развития он научался отличать сон от яви, воображаемое от реального. Так дуализм (противопоставление субъективного и объективного), а ргіогі свойственный “взрослым” состояниям культуры, может стать критерием оценки и деления культур на “высшие”, “развитые” и все остальные, на что и указывает автор статьи ниже. – *Прим. перев.*

яснял в своей «Первобытной культуре», «дикарь или варвар никогда не опирался на жесткое противопоставление субъективного и объективного, воображаемого и реального; подобная дистинкция представляет собой главный итог научного образования»<sup>1</sup>. Ключевыми здесь были попытки объяснить и понять сновидения посредством концепции “духовных существ” (призраков, духов и пр.), которая, в свою очередь, способствовала формированию анимизма – типично “примитивного” верования в многообразии душ, безраздельно царствующих в мире природы и в человеческой жизни<sup>2</sup>. Французский философ и антрополог Л.Леви-Брюль оспаривал анимистическую теорию Тайлора. “Примитивные народы” в действительности вряд ли путают субъективные феномены с объективными; напротив, их “наивная” вера в реальное существование явленных во сне образов выступает примером “мистической партиципации” – краеугольного камня того, что Леви-Брюль называл “пра-логической ментальностью”<sup>3</sup>. Вот что он утверждал: «Вместо того, чтобы говорить, как это принято делать, что первобытные люди верят тому, что они воспринимают во сне, хотя это только сон, я скажу, что они верят сновидениям именно потому, что это сновидения»<sup>4</sup>.

Монументальное «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда рассматривало сновидения как выражение замаскированных бессознательных же

---

<sup>1</sup> Tylor, E.B. *Primitive Culture*, 2 vols., London: John Murray, 1871. [Частично – в отрывках – этот обширный, богатый этнографическим материалом, труд переведен на русский язык: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 205–252. – *Прим. перев.*]

<sup>2</sup> Согласно популярной в свое время анимистической теории Э.Тайлора, вера в “духовные существа” является своеобразным “минимумом религии”. Зародилась эта вера, потому что “дикарь-философ” задумался о том, что происходит с ним в таких состояниях, как сон, обморок, галлюцинации, болезни, смерть. Из этих наблюдений первоначально возникла первобытная теория о душе как маленьком двойнике человека, способном покидать его во время сна или смерти, на время или навсегда соответственно. Постепенно представления о душе-двойнике усложнялись – души стали обнаруживаться у растений, животных, неживых предметов, заговорили о душах умерших, о переселении душ, загробном мире душ и т.п. – *Прим. перев.*

<sup>3</sup> Леви-Брюль считал, что в процессе любой своей деятельности первобытный человек ощущал прежде всего не рациональный, а мистический смысл. Эта ориентация придавала его восприятию мира своеобразную окраску, которую французский этнолог и назвал “пра-логической ментальностью”. Главными были не причинно-следственные связи, устанавливаемые строго рационально, а “партиципация” – мистическое соучастие, сопричастность между разными, порою внешне отдаленными явлениями и событиями, вещами и людьми. – *Прим. перев.*

<sup>4</sup> Levy-Bruhl, L. *How Natives Think*, Princeton: Princeton University Press, [1910] 1985. [На русском языке выходили следующие его книги: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930, Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. Они переизданы в серии «Психология: классические труды»: Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994. С. 45–49. – *Прим. перев.*]

ланий, искаженных цензурой сознания<sup>1</sup>. Его позиция продолжала аристотелевскую трактовку сновидений как всецело содержания индивидуального опыта. Однако в диаметральной противоположности Артемидору и другим древним интерпретаторам, фрейдистская концепция сновидений не обращалась к будущему индивида; она срывала покровы с его потаенного прошлого. Влияние психоаналитической теории в начале XIX в. было настолько сильным, что антропологи не могли пройти мимо ее достижений, и стали широко использовать проблематику сновидений в своих исследованиях. Вместе с тем, они ограничивались преимущественно психологией сна – эмпирическим описанием сновидческого опыта в тех формах, в каких он был возможен в индивидуальном опыте представителей различных обществ, и ничего не говорили (вопреки установке на эмпиризм) об антропологии сна – своеобразии культурных форм сновидческого опыта. Фрейдисты могли исследовать древнеегипетские символы сновидений о кровосмешении, но они видели в них прежде всего универсальный, по их мнению, эдипов комплекс. Такая интерпретация может быть корректной на одном уровне, но совершенно ошибочной в отношении того значения, которое придавали сами египтяне этому сновидению, предвещавшему, согласно бытовавшему тогда мнению, улучшение взаимоотношений с родственниками.

Пока большинство антропологов занимались разработкой универсальной теории бессознательного Фрейда применительно к этнографии разных обществ, Д.С. Линкольн в своей работе «Сновидения в примитивной культуре»<sup>2</sup> еще в середине 1930-х гг. наметил линии возможного использования социокультурного анализа сновидений. Уже в конце 1980-х гг., следуя пути, проложенному Линкольном, стали появляться многочисленные исследования, касающиеся собственно антропологии сновидений, а также тех последствий – социальных и политических – в отношении которых эта антропология может находить себе применение<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Freud, S. *The Interpretation of Dreams*, Gerge Allen & Unwin Ltd., [1900] 1953. [См. также: Фрейд З. Толкование сновидений. (Репр. изд. 1913 г.). Ереван, 1991. – Прим. перев.]

<sup>2</sup> См.: Lincoln, J.S. *The Dreams in Primitive Culture*, London: Cresset Press, 1935.

<sup>3</sup> См.: Tedlock, B. (ed.) *Dreaming: Anthropological and Psychological Interpretations*, Santa Fe: SAR, 1987; Jedej, C., Shaw, R. (eds.) *Dreaming, Religion and Society in Africa*, Leiden: Brill, 1992.

*Джеймс Клиффорд*

## **О коллекционировании искусства и культуры<sup>1</sup>**

[Эссе Джеймса Клиффорда описывает систему “искусство–культура”, в рамках которой искусство, принадлежащее индивидам и коллекционируемое ими, становится точкой опоры для культуры, воспринимаемой как абстрактная общественная традиция. Он анализирует систему, используя одновременно структурные и исторические техники, и приходит к заключению, что она имела большое значение для формирования “Западной субъективности”. Система, полагает он, открыта и текуча. Хотя она трансформирует в искусство, в объект приобретения и созерцания, сакральные и повседневные предметы, принадлежащие отдаленным культурам, она также делает экзотичной местную культуру. – Саймон Дьюринг, редактор сборника «Хрестоматия по культурным исследованиям»]

### ***Как мы коллекционируем самих себя***

(...) С точки зрения истории антропологии и современного искусства коллекционирование следует рассматривать одновременно как форму западной субъективности и как изменчивый набор институциональных практик, обладающих определенными властными полномочиями.

(...) Классический анализ западного собственнического индивидуализма, представленный Макферсоном, прослеживает возникновение и становление в XVII в. образа идеальной человеческой личности как личности собственника, обладателя-индивидуума, находящегося в окружении накопленных им объектов собственности. Сходный идеал характерен и для общностей, создающих и воссоздающих собственные культурные “самости”. ...Идентичность – не важно, культурная или личностная – предполагает акты коллекционирования, построения из собранного произвольных систем ценностей и смыслов. Подобные системы, регламентирующие и регламентируемые, исторически изменяются. Никто не свободен от их влияния. ...Конструирование и консервация сферы аутентичной идентичности не могут быть самопроизвольными и самодетерминированными – они всегда тесно связаны с национальной политикой, законодательной сферой и соперничающими формами кодирования прошлого и будущего.

(...) Собираение чего-либо вокруг личности или группы в форме конструирования материального мира... по всей видимости отражает намерения, в целом присущие человечеству, ...коллекции воплощают системы определенных ценностей, исключений, подзаконных личности сфер. Однако вовсе не являются универсальными представления о собирании в качестве

---

<sup>1</sup> Перевод Л.Халиуллиной по: Clifford, J. ‘On collecting art and culture’, in Durning, S. (ed.) *The Cultural Studies Reader*, Routledge, 1999, pp. 59–70, 72, 74–75.

накопления собственности, а также идея идентичности как разновидности богатства (состоящего из предметов, знаний, воспоминаний, опыта). Меланезийский “большой человек” не является собственником в том смысле, который придает этому слову Макферсон, ибо накопление производится им не с целью частного обладания накопленным, а для раздачи, перераспределения. На Западе же коллекционирование давно уже превратилось в определенную стратегию навязывания собственной личности, аутентичности, собственной культуры.

На этот счет весьма показательны детские коллекции. ...Включаемые в них предметы отражают более широкие культурные императивы относительно рациональной упорядоченности, гендерного и эстетического начала. Здесь мы наблюдаем, как свойственная человеку жажда обладания трансформируется в многозначное и управляемое желание. Таким образом личность, потенциально способная обладать, но не обладающая, учится отбирать и классифицировать объекты в соответствии с определенной иерархией – ...то есть создавать хорошие коллекции. ...В отличие от тех, кто просто одержим собирательством, или скряг коллекционер обладает вкусом и склонен к рефлексии. Именно сама коллекция – вся ее таксономическая, эстетическая структура – наделяется ценностью; в таких условиях любая фиксированность личности на отдельных элементах коллекции выступает в качестве отношения “первобытного” или девиантного, то есть в виде идолопоклонства или эротического фетишизма.

...Исследование, осуществленное Сьюзан Стюарт, ...выявляет “структуру желания”<sup>1</sup>, задача которого – вновь и вновь тщетно пытаться преодолеть пропасть, отделяющую язык от кодирующего его опыта. Стюарт исследует определенные повторяющиеся стратегии, используемые людьми на Западе примерно с XVI в. Согласно ей, любая [художественная] миниатюра ...является воплощением буржуазного желания “опыта внутреннего пользования”. ...Она демонстрирует, каким образом коллекции (особо примечательны на этот счет музеи) создают иллюзию достаточной репрезентации мира, вырывая предметы из их особенных (культурных, исторических, intersубъективных) контекстов и подменяя этими предметами абстрактные целостности (маска бамбара становится этнографическим метонимом культуры Бамбара). Другая схема классификации разрабатывается для хранения или демонстрации некоего объекта таким образом, что реальность существования самой коллекции и внутренне присущий ей порядок отодвигают на задний план конкретную историю производства и присвоения данного предмета. В полном соответствии с идеей Маркса о товарном фетишизме Стюарт утверждает, что в современном мире «иллюзия отношений между предметами занимает место социальных отноше

---

<sup>1</sup> См.: Stewart, S. *On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection*, John Hopkins University Press, 1984.

ний»<sup>1</sup>. Так, конструирование смысла в процессе музейного классифицирования и показа представляется публике в качестве его адекватной репрезентации. Темпоральность и внутренне присущий коллекции порядок как бы устраняют конкретный общественный труд по ее созданию этой репрезентации.

Работа С.Стюарт представляет коллекционирование и демонстрацию в качестве значимых процессов формирования западной идентичности. ...Коллекционные артефакты – независимо от того, окажутся ли они впоследствии в антикварных салонах, частных гостиных или в музеях этнографии, фольклора и изобразительного искусства – представляют собой определенную функцию в рамках капиталистической “системы объектов”<sup>2</sup>. Благодаря наличию этой системы конструируется ценностная сфера и обеспечиваются размещение и циркуляция артефактов. Объекты создают структурированную среду, подменяющую собственной темпоральностью “реальное время” исторических процессов, в том числе процессов производства. «Среда частных предметов и обладания ими, проявлением которой являются коллекции, – есть отдельное измерение нашей жизни, одновременно и необходимое, и воображаемое. Необходимое, как сны»<sup>3</sup>.

(...) История коллекций (не ограничивающаяся музеями) имеет ключевое значение для понимания того, каким образом социальные группы, которые изобрели антропологию и современное искусство, также апроприировали<sup>4</sup> экзотические предметы, факты и значения.

(...) Примерно с начала XX в. предметы, получаемые из незападных источников, стали распределяться на две основные категории: культурных артефактов, имеющих научное значение, и предметов искусства, обладающих эстетической ценностью. Прочие же – товары массового потребления и т.д. подлежали оцениванию менее систематично: в лучшем случае они демонстрировались на выставках технологических инноваций или фольклора. Эти и прочие элементы того, что может быть названо “системой современного искусства–культуры” могут быть изображены при помощи (несколько упрощенческой) схемы.

(...) “Семиотический квадрат”<sup>5</sup> указывает на то, что «любая бинарная оппозиция посредством операции отрицания и последующего синтеза может создавать широкое поле терминов, которые, однако, остаются замкнутыми в границах изначальной системы»<sup>6</sup>. Адаптируя эту модель к задачам

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, p. 165

<sup>2</sup> См.: Baudrillard, J. *Le systeme des objets*, Gallimard, 1968.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p.135

<sup>4</sup> Присвоили, усвоили. – *Прим. перев.*

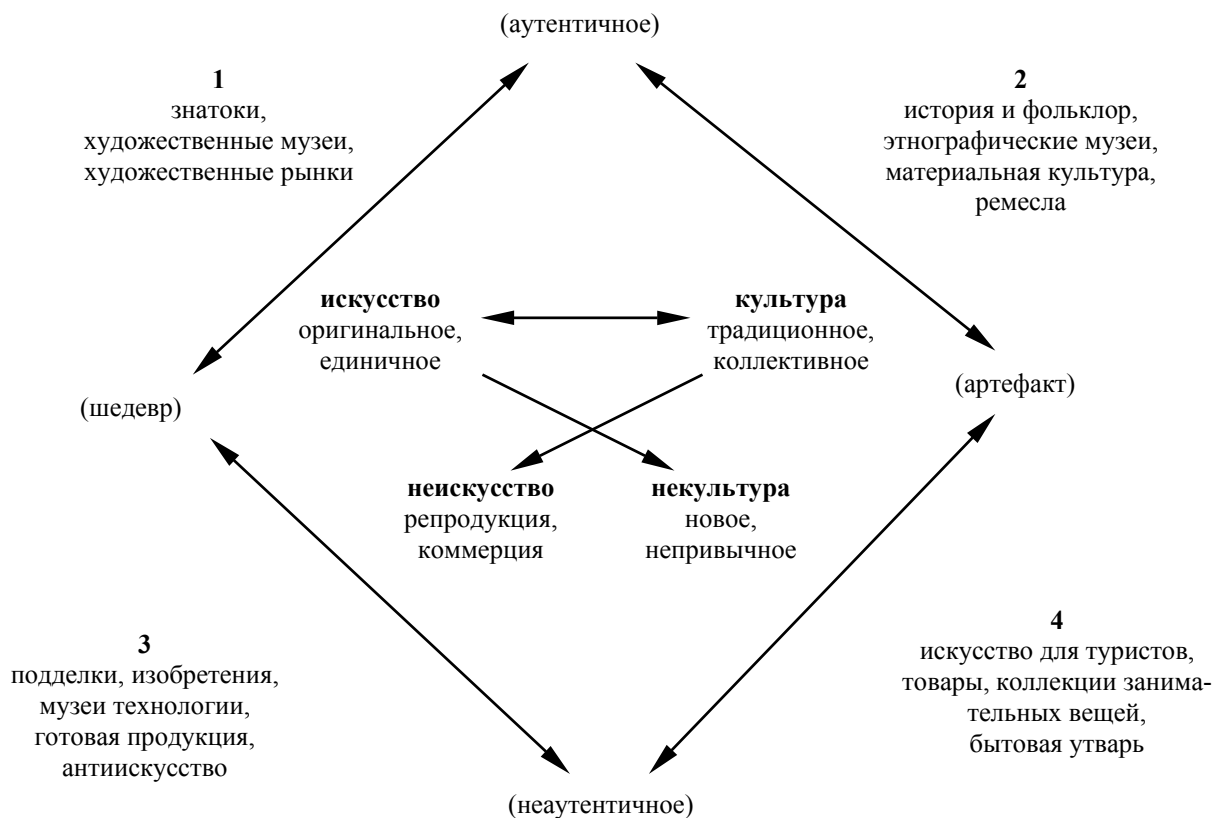
<sup>5</sup> См.: Greimas, A. J., Rastier, F. *The Interaction of Semiotic Constraints*, Yale French Studies 4, 1968.

<sup>6</sup> Jameson, F. *The Political Unconscious: Narrative As a Socially Symbolic Act*. Cornell University Press, 1981, p. 62

культурной критики, Фредерик Джеймисон использует семиотический квадрат для выявления «ограничений частного идеологического сознания», обозначая концептуальные пункты, «за пределы которых это сознание выйти не может, и внутри которых оно вынуждено осциллировать»<sup>1</sup>. Следуя его примеру, я предлагаю следующую карту исторически специфичных полей значений и институтов.

При помощи отрицания изначальная бинарная оппозиция порождает четыре термина (отношения). Устанавливаются горизонтальные и вертикальные оси, а между ними – четыре семантические области: 1) область аутентичных шедевров; 2) область аутентичных артефактов; 3) область неаутентичных шедевров; 4) область неаутентичных артефактов. Большая часть предметов – старых и новых, редких и обыденных, знакомых и экзотических – могут быть размещены в одной из этих областей либо между двумя областями.

Система «искусство–культура» классифицирует объекты и приписывает им относительную ценность. Она предусматривает «контексты» их существования и возможность замены одного контекста другим. В ходе регулярных позитивных перемещений отбираются артефакты, наделяясь качествами ценности или редкости, что чаще всего гарантируется культурным статусом раритета или положительной реакцией рынка культуры. При этом господствующие определения «красивого» и «интересного» зачастую меняются очень быстро.



<sup>1</sup> *Ibid.*, p. 47



(...) Достаточно регулярные перемещения в рамках системы (объекты перемещаются в обоих направлениях) соединяют области 1 и 2. Предметы, которым прежде приписывалась лишь историческая или культурная ценность (вторая область), в какой-то момент могут быть удостоены статуса искусства. ...Движение в обратном направлении наблюдается тогда, когда художественные шедевры контекстуализируются культурно и исторически.

(...) Совершаются также перемещения между верхней (первые два контекста) и нижней (третий и четвертый контексты) половинами системы, причем чаще в восходящем направлении. Товары из области 4 регулярно переключиваются в область 2, обретая статус редких образцов чего-либо и становясь таким образом добычей коллекционеров (например, старые зеленые стеклянные бутылки из-под кока-колы).

(...) Художественные изображения гаитян – насквозь коммерчески ориентированные, далекие от аутентичности и относительно недавние – переместились в сферу “искусства–культуры” вследствие их ассоциированности с областью 2 и их оценки не просто в качестве работ неких художников, но самих гаитян. ...Прямых переходов из четвертой в первую область быть не может.

(...) Обычными стали перемещения между областями 4 и 3 – например, когда произведенный товар или технологический артефакт преподносятся в качестве образца особой технической изобретательности и мастерства. ...Иногда подобные предметы приобретают статус искусства, проникая из третьей области в первую (мебель, машины и прочее, что часто выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке). Регулярны перемещения из третьей области в первую. ...Различные формы антиискусства, то есть искусства, выставляющего напоказ собственную вторичность, неаутентичность – ценятся и коллекционируются [вернее, коллекционируются и ценятся – *прим. перев.*]: таковы банка супа Уорхола, писсуар Дюшана и прочее. Объекты области 3 – это потенциальные составляющие художественных коллекций: они необычны, резко отличаются от привычных культурных образцов, ставят себя вне их.

(...) Система “искусство–культура” ...исключает и маргинализует различные остаточные и возникающие контексты. Упомянем лишь один из них, связанный с тем, что категории искусства и культуры, технологии и товарного мира являются строго секулярными. “Религиозный” объект может быть расценен как образец большого искусства (икона Джотто), фольклорного искусства (декорации латиноамериканского храма) или как культурный артефакт (индейская обрядовая погремушка). ...Его специфическая сила или сакральность без остатка перемещаются в сферу эстетического. Предметные системы искусства и антропологические предметные системы институционализированы и наделены властными полномочиями, однако они отнюдь не являются неизменными. Категории красивого, куль

турного и аутентичного подвержены изменениям. Необходимо лишь сопротивляться тенденции к самодостаточности коллекций, к затемнению конкретных исторических, экономических и политических процессов их производства. В идеале история создания и демонстрации самой коллекции должна быть неотъемлемым аспектом любой выставки.

(...) В том, что касается демонстрации и восприятия незападных предметов, историческое самосознание может приоткрыть механизм функционирования тех средств, при помощи которых антропологи, художники и посетители выставок конструируют себя и мир вокруг себя. На более глубоком, личностном уровне, в отсутствие стремления постигать объекты в качестве культурных знаков или художественных образов, мы вновь можем вернуть им ...их утерянный статус фетишей – не чужих фетишей (непременных индикаторов девиации), но фетишей своих собственных. ...Тогда артефакты Африки и Океании снова станут предметами пленительными, способными трогать и волновать нас. И когда мы являемся свидетелями их сопротивления классифицированию, они напоминают нам о нашей собственной несобранности, отсутствии самообладания, о хитростях и уловках, которые мы используем, конструируя мир.

### ***Коллекционирование культуры***

“Культуры” являются этнографическими коллекциями. Термин “культура” употребляется для обозначения довольно большой “сложной целостности”, включающей любое опосредованное групповое поведение: от телесных техник до символических порядков. Впервые подобным образом этот термин определил Э.Тайлор в 1871 г. ...Однако конкретная деятельность репрезентации культуры, субкультуры, любой сферы коллективной деятельности всегда стратегична и селективна.

Восприятие этнографии как формы коллекционирования культуры (чем она исключительно и является) высвечивает способы, посредством которых отбираются разнообразные опыты и факты. При этом теряется связь с оригинальными временными условиями данной культуры, и в новой обстановке обретается ценность иного рода, нежели изначальная. Коллекционирование – по крайней мере на Западе, где время воспринимается как бесповоротно линейное – предполагает спасение феномена от неизбежного исторического разложения или полной утраты. Коллекция содержит предметы, которые полагаются в качестве достойных сохранения и памяти. ...Антропологи обычно отбирают то, что им кажется традиционным, что по определению противоречит современному.

(...) Спасению и сохранению подлежит то, что придает миру форму, структуру и последовательность. Гибридное или “историческое” в смысле становления, незавершенности, гораздо реже собирается и преподносится как аутентичное.

(...) Любое присвоение культуры, осуществляется ли оно изнутри или извне, предполагает специфическую позицию во времени и определенную форму исторического нарратива. ...Практика западного коллекционирования культуры имеет собственную генеалогию, таящуюся в европейских понятиях времени и порядка.

(...) Значимым аспектом недавней истории концепции “культуры” стал ее союз (и функциональное разделение) с концепцией “искусства”. Культура, даже без заглавной “К”, всегда тяготеет к эстетической форме и автономии. ...Идеи современной культуры и искусства совместно и связано функционируют в “системе искусства–культуры”. Появление в XX в. категории культуры, не отдающей предпочтения культуре “высокой” или “низкой”, стало возможным только в рамках этой системы.

(...) Версия “культуры” с маленькой буквы упорядочивает феномены таким образом, что предпочтение отдается сбалансированным и “аутентичным” аспектам коллективной жизни. Под общим заголовком собираются элементы, придающие непрерывность и глубину коллективному существованию, которое воспринимается скорее целостным, нежели проблемным, фрагментированным, интертекстуальным или синкретичным. (...) Предположения о целостности, непрерывности, глубокой внутренней сути долгое время связывали воедино западные идеи культуры и искусства. (...) История данных понятий заводит нас в поисках истоков чуть ли не к древним грекам. Раймонд Уильямс намечает исходным пунктом теоретизирования начало XIX в. (момент беспрецедентного исторического и социального раскола). ...Изменения [в употреблении понятий] – комплексные ответы на индустриализм, на призрак массового общества, на социальные конфликты и изменения.

Согласно Уильямсу, в XVIII в. “искусство” обозначало по преимуществу мастерство, а “культура” – тенденцию естественного развития.

(...) “Искусство и культура”, появившиеся после 1800 г., предназначались для демаркации сфер человеческих ценностей и полагались в качестве собрания лучших и наиболее достойных творений Человека. В XX в. эти понятия претерпели серию дальнейших изменений. ...Культура, ...первоначально берегаемая для лучших творений современной Европы, была расширена на все население мира. ...В ситуации этой новой плюралистичности определения XIX в. не были, однако, трансформированы полностью. Джордж Стокинг демонстрирует сложные взаимоотношения между гуманистической мыслью XIX в. и новыми антропологическими определениями культуры. Антропология, считает он, обязана Мэтью Арнольду в не меньшей степени, чем ее официальному отцу-основателю Тайлору. ...“Культура” по-прежнему статична, традиционна, структурна (а не эфемерна, синкретична и исторична).

(...) В самом начале XX в. – параллельно соотношению “культуры” со всем множеством и разнообразием существующих сообществ – за изряд

ным количеством экзотических, первобытных или древних объектов был закреплён статус “искусства”. ...Реализовано это было посредством двух стратегий. Во-первых, предметы, реклассифицированные как примитивное искусство, были размещены в воображаемом музее человеческих творений, а затем, чуть позже, и в реально существующих художественных музеях Запада. ...Возникла категория примитивного искусства со своим рынком, своими ценителями и тесными связями с модернистской эстетикой.

(...) Во-вторых, дискурс и институты современной антропологии сконструировали сравнительно-синтетический образ человека, элементы которого были беспристрастно заимствованы из множества аутентичных мировых культур.

(...) Ностальгические воспоминания Леви-Строса о Нью-Йорке времен Второй мировой войны [своеобразном складе мировой культуры и истории, где соседствуют предметы искусства всех времен и континентов, а под отделанными дубом аркадами публичной библиотеки временами попадаются “оперенные” индейцы, делающие записи при помощи ручки «Паркер»] представляют хронотоп<sup>1</sup> современного искусства и культуры наилучшим образом.

Современные практики коллекционирования искусства и культуры – научные и авангардные – поместили себя в конец всеобщей истории. Они заняли место – апокалиптическое, прогрессивное, революционное или трагическое – с которого обзирают и перерабатывают обширное наследие человечества. ...Нью-Йорк Леви-Строса предвосхищает всеобщее энтропическое будущее человечества и подбирает разрозненные элементы его прошлого, переводя их в деконтекстуализированные, коллекционные формы.

(...) Современная [западная] генеалогия культуры и искусства ...является локальной историей. ...Существуют другие контексты, дискурсы и истории, которым могут принадлежать предметы незападного происхождения и культурные памятники. ...То, что западное сознание полагает в качестве “культуры” и “искусства” более не может быть просто экстраполировано на западных людей и предметы. Они могут быть в худшем варианте наложены, в лучшем – переведены с помощью возможных исторических и политических операций.

(...) На карту ставится нечто большее, нежели конвенциональные образовательные программы музеев. Современные тенденции развития ставят под сомнение сам статус музеев как историко-культурных театров памяти.

(...) Чтобы стать восприимчивыми к историям иного рода, другим локальным историям культурного выживания и становления, необходимо сопротивляться устойчивым, глубоко укоренившимся привычкам мышления и претензиям предписывающих систем аутентичности, относиться подоз

---

<sup>1</sup> Термин М.М.Бахтина, употребляемый для обозначения определенной пространственно-временной конфигурации, в рамках которой имеют место определенные деятельности и истории. – *Прим. перев.*

рительно к почти автоматической тенденции относить незападных людей и объекты к прошлому времени все более гомогенного человечества.

(...) Доминирующие, замыкающиеся друг на друге контексты искусства и антропологии более не могут быть самоочевидными и неоспоримыми.

*Брайан С. Тернер*

## **Медицинская власть и социальное знание<sup>1</sup>**

(С. 2) Ныне представляется уже само собой разумеющимся, что социальные и психологические факторы являются решающими в этиологии болезни.

Некоторые учебники по медицинской социологии сегодня предлагают достаточно четкое деление проблем с человеческим здоровьем на три различных категории, а именно: недомогание (*sickness*), недуг (*illness*) и болезнь (*disease*). Болезнь – это понятие, которое описывает дисфункции физиологического и биологического характера, тогда как недуг относится к субъективному восприятию индивидом расстройства, а недомогание обозначает соответствующую социальную роль. Можно утверждать, что это тройственное деление соответствует профессиональному разделению труда и уровню престижности медицинской деятельности. Например, врач профессионально обучен лечить болезнь, клинический психиатр должен иметь дело с недугом, а клинические социологи ориентированы на недомогание...

Болезнь видится как нейтральная естественная сущность, свойственная природе, а именно телу пациента. Разделение физического и психического недугов соответствует разделению на душу и тело в культуре, которое фактически в философском и социологическом планах весьма проблематично. ...Адекватная медицинская социология потребует социологии тела, так как только развивая понятия социального воплощения мы можем адекватно критиковать общепринятое разделение души и тела, индивида и общества. Социология тела, таким образом, становится важным теоретическим базисом для медицинской социологии. (...)

(С. 4–5) Рассмотрим три уровня анализа в рамках общей теории здоровья и болезни. Во-первых, социология может обеспечить описание опыта недуга с точки зрения индивида. ...Ряд социологических подходов – феноменология (анализ повседневной жизни с целью выяснения лежащих в ее основе предположений) и символический интеракционизм (изучение соци

---

<sup>1</sup> Перевод С.Нагумановой по: Turner, B.C. *Medical Power and Social Knowledge*, London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1978, pp. 1–17.

альной жизни как системы коммуникации через символы) – служат этой цели. На втором уровне медицинская социология обычно фокусируется на социальном конструировании категорий болезни (“недуга”, “греха” и “отклонения”) посредством которых профессиональные группы классифицируют и регулируют индивидов. На этом уровне мы пытаемся исследовать возникновение специальных институтов, опекающих больных и девиантов (госпиталей, клиник и психиатрических больниц) Понятие “роль больного” является решающим для этого уровня исследований. Третий уровень исследований касается социетальной ориентации систем здравоохранения, их отношения к государству и экономике, он затрагивает проблемы социального неравенства как внутри одного общества, так и между обществами. К вопросам макросоциального анализа обычно обращались политическая экономия и марксистская социология...

Связь между макроанализом социальных систем и феноменологией индивидуального недомогания обеспечивается понятием социальной роли и в особенности идеей роли больного... (...)

(С. 8) Представление об усиливающемся взаимовлиянии медицины и социологии является результатом изменения природы болезни и недуга в современных индустриальных обществах. Например, в XIX в. врачи в США в основном сталкивались с реальной болезнью и острыми недугами, угрожавшими жизни (часто заразными). Основными причинами смерти в 1900 г. в США были грипп, пневмония, туберкулез и гастроэнтерит, тогда как в 1980-е гг. главными причинами смерти являются болезни сердца, злокачественные новообразования (рак), поражения сосудов центральной нервной системы и несчастные случаи. Прочие причины болезней в XX в. связаны со старением населения и изменениями в образе жизни... Поэтому во второй половине XX в. врачи сталкиваются в основном с длительными хроническими расстройствами, препятствующими социальному функционированию пациента. В какой-то степени микробов в качестве главного объяснения современной болезни заменил стресс, а понятие лечения все больше заменяется понятиями реабилитации и попечения. В результате врачи общей практики все больше зависят от социологических знаний, поскольку их компетентность в сфере физиологических, химических и биологических аспектов болезни и недуга становится все более относительной. Эпоху героической медицины сменило земное медицинское ведение хронических недугов как противостоящих острым болезням...

Изменение характера болезни и недуга породило в социологии и клинической медицине новое понятие – холистической медицины. Предполагается, что социологию интересует целостная личность в контексте социального окружения, и поэтому социология может внести прямой и важный вклад в медицинское восприятие и понимание недуга в современном обществе...

(С. 9–10) ...Медицинская модель объяснения болезни имеет ряд важных черт. Болезнь рассматривается как следствие серьезных дисфункций человеческого тела, которое интерпретируется как биохимическая машина. Во-вторых, медицинская модель предполагает, что все человеческие дисфункции могли бы быть прослежены до соответствующих причинных механизмов внутри организма; в конечном счете, различные формы психических недугов объясняются в терминах биохимических изменений. Медицинская модель является редукционистской в том смысле, что всякое нездоровое поведение каузально редуцируется к некоторым специфическим биохимическим механизмам. Далее, медицинская модель является исключительной, поскольку альтернативные точки зрения отвергаются как несостоятельные. Наконец, медицинская модель, проводя жесткую границу между душой и телом, полагает, что причина болезни может находиться только в теле.

Социологическая модель недуга занимает критическую, противоположную позицию по отношению к биохимической модели болезни. Она рассматривает понятия медицинской науки как продукты культурных изменений, отрицая дуализм души и плоти через развитие понятия воплощения, оспаривая редукционизм и исключительные схемы, утверждая, что болезнь, как и вина, не может иметь единственной причинной схемы, и, наконец, что болезнь и пациент не могут быть поняты вне исторического, социального и культурного контекста личности...

...Французский философ Фуко ...поднял проблемы, которые я считаю центральными для медицинской социологии. Фуко был занят изучением отношений между определенными медицинскими дискурсами и осуществлением функций власти в обществе. (...)

(С. 10–11) ...По мнению Фуко, мы знаем или видим то, что допускает наш язык, так как мы не способны стихийно постигать [реальность] вне языка. Как и все другие формы человеческого знания, научный дискурс – это просто коллекция метафор. Научное знание о мире – это форма нарратива, и как всякий нарратив, наука зависит от различных конвенций в языке (например, стиль письма). Нарратив есть набор событий в языке, а язык есть самореферентная система. Ничто не происходит вне языка. Поэтому то, что мы знаем о “мире” есть просто результат произвольных конвенций, которые мы принимаем в целях описания мира. Различные общества в различные исторические периоды имеют различные конвенции и поэтому – разные реальности.

Эта эпистемология, связанная с работами Фуко, представляется исключительно важной для социологии медицины. Мы более не можем рассматривать “болезни” как природные события в мире, случающиеся вне языка, с помощью которого они описаны. Болезнь как реальность есть продукт медицинских дискурсов, которые в свою очередь отражают господствующую в обществе форму мышления (эпистему – в терминах Фуко). Напри

мер, гомосексуальность в христианской терапии рассматривалась как грех, в ранней психологии – как поведенческое расстройство, а в современной медицине – просто как сексуальное предпочтение. Так же точно, безумие подавлялось как капризное поведение вплоть до возникновения морально-го лечения Тьюка, что демонстрирует Фуко в «Безумии и цивилизации»...

...Он хотел проследить весьма тесную связь между властью и знанием. Например, доступ к корпусу “научного” знания давал врачам в конце XIX в. огромный социальный престиж и влияние. Клинический взгляд (как назвал медицинскую власть Фуко в работе «Рождение клиники») позволил медикам узурпировать значительную социальную власть в определении реальности и, следовательно, в определении отклонения и социального расстройства. Согласно Фуко, в истории западной рациональности медики и полиция заменили священников как блюстителей социальной реальности...

(С. 12) Фуко был одержим исследованием того парадокса, что в современных обществах человек является одновременно и субъектом истории (как ее активный агент) и ее объектом (как тема дискурса). Наше понимание “Человека” – это результат отношений “знание–власть”, в которых медицина и социальная наука сыграли важную роль в качестве агентов контроля. Современная пенитенциарная система, больница, тюрьма и школа являются элементами расширяющегося аппарата контроля, дисциплины и регламентирования. Эта “паноптическая” система надзора обеспечила порядок не через открытое насилие, но через микрополитику дисциплины, с помощью которой организовано моральное подчинение людей...

(С. 13) ...По мнению Фуко, западное общество все больше регулируется государством, полицией, профессиональными ассоциациями и социальными работниками; в нем все более доминируют стандарты рассудка (через применение науки в повседневной жизни). В результате оно становится все более однообразным и стандартизованным, потому что мы не можем или не сможем быть терпимыми к идеям и образу жизни, которые слишком сильно отличаются от “нормальных” (как их первоначально определяет медицина). По крайней мере, часть этой стандартизации обеспечивается государственным аппаратом и местными органами. Этот принцип регуляции Фуко назвал паноптицизмом: общество, которое он формирует, он назвал карцерным. Короче говоря, медицина является частью широкой системы морального регулирования населения посредством медицинского режима. ...Мы можем рассматривать философию и историю Фуко как вклад в социологию тела. Такую социологию интересует, как человеческие отношения и эмоции подчиняются нормализации через медицину, которая устанавливает приемлемые критерии “нормальной эмоции”. Социология исследует, каким образом сексуальность становится объектом медицинской технологии, благодаря чему самовоспроизводство рода попадает в руки медиков. По мнению Фуко, медицина теперь завладела самой жизнью. Результатом этого процесса является новая стадия политической ис



тории общества, а именно “политическая анатомия человеческого тела” и “биополитика населения” (как он описывает этот процесс в «Истории сексуальности»). Современные порядки, система надзора и контроля и современные формы знания о человеке концентрируются на теле и его воспроизводстве. Именно по этой причине социологи особенно заинтересовались медициной и медикализацией общественных отношений как аспектом морального регулирования; по этой причине мы также должны принимать работу Фуко всерьез. (...)

(С.222) Тем не менее, у теории Фуко есть свои слабые места. Во-первых, он стремится создать то, что мы могли бы назвать структуралистской теорией тела; он рассматривает тело как результат или следствие изменений социальной организации, и поэтому не дает феноменологию живого тела. Фуко склонен отрицать важность сознания на феноменологическом уровне, его больше интересуют следствия медицинских дискурсов. ...Фуко не анализирует феномены оппозиции и сопротивления медицинской власти, поскольку в нарисованной им картине общества бюрократия и государственные структуры находятся на первом месте. Совершенно очевидно, что люди, не имеющие профессиональных знаний, сопротивляются медицинскому контролю, образуют потребительские группы, чтобы противостоят профессиональной медицине и бросать вызов медицинскому авторитету посредством альтернативных подходов. Действительно, в современных индустриальных обществах альтернативная медицина расцвела в противоположность медицинской модели и медицинской профессионализации...

(С. 224) ...Социологам часто не хватало понимания тех дилемм, с которыми сталкиваются врачи общей практики в условиях ограниченных ресурсов и растущих ожиданий в отношении здоровья. В условиях экономической скованности системы здравоохранения комментарии медицинских социологов в области структурных ограничений современной практики здравоохранения часто были наивными. Слишком часто социологи по существу не осознавали парадоксальности собственной позиции. С одной стороны, они критикуют медикализацию общества как форму медицинского господства, а с другой – они рекомендуют более интенсивную и интервенционистскую медицину в отношении управления образом жизни и повседневым взаимодействием, приводя при этом доводы в пользу экстенсивных профилактических подходов. Профилактическая медицина – явно гораздо более интервенционистская, чем обычная лечебная медицина, однако социологи оказались в целом защитниками профилактической медицины в ответ на ситуацию социальной детерминации хронических заболеваний в современных обществах. Медицинская социология несомненно должна сделать большой вклад в медицинскую практику, но этот вклад должен быть сдержанным, благоразумным и осмотрительным. (...)

(С. 225) ...По мере роста социальных ожиданий в отношении здравоохранения, росло и настойчивое требование равного доступа к медицинскому обслуживанию. ...Современные правительства вынуждены серьезно относиться к региональному неравенству показателей детской смертности как проявлению социального неравенства, лежащего в основе демократической капиталистической системы. ...Хотя демократическая система и могла бы обеспечить равенство возможностей, тем не менее очень трудно обеспечить равенство результата в отношении здоровья без серьезного посягательства на права и свободы личности. ...В современных обществах существует противоречие: чем настойчивее требование равенства людей, тем больше необходимость в надзоре и регулировании общества. Таким образом, обеспечение гражданства ведет к регулированию, контролю и надзору со стороны государства. Мы могли бы назвать это “парадоксом Фуко”, а именно, противоречием между правами индивида и социальным надзором: медицинализация общества включает детальное и мелочное бюрократическое регулирование в интересах абстрактного понятия здоровья как элемента гражданства.

*Джанет Вулф*

**Невидимая *flâneuse*<sup>1</sup>:**

**женщины и литература современности<sup>2</sup>**

*Опыт современности* (С. 34–35)

Литература современности [modernity] описывает опыт мужчин. Это, по существу, литература о трансформациях публичного мира и связанного с ним сознания. Точная дата прихода “современного” [the modern] определяется по-разному, то же самое происходит и в том случае, когда различные авторы пытаются выявить характерные черты “современности”. Однако общей чертой всех этих оценок является их интерес к публичному миру – миру работы, политики и городской жизни, а это области, из которых женщины были исключены или в которых они были практически невидимы. Например, если важнейшей характеристикой современности является

---

<sup>1</sup> *Flâneuse* – существительное женского рода, образованное от фр. глагола *flâner* – прогуливаться. Бродить, зря тратить время, бездельничать. Существительное ‘*flâneuse*’ является изобретенным автором статьи неологизмом, представляющим собой пару женского рода к французскому существительному “*flâneur*” – неработающий, праздный, бродяга. – *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Перевод Л. Низамовой по: Wolff, J. ‘The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity’, in *Theory, Culture and Society* 2:3, 1985, pp. 34–47.

веберовская идея об усилении процесса рационализации, то главными институтами, испытывавшими влияние этого процесса, были фабрика, офис и государственный департамент. Безусловно, всегда были женщины, работавшие на фабриках; рост бюрократий также в определенной степени зависел от становления новой женской рабочей силы – клерков и секретарей. Однако уместно говорить об этом мире как о мире “мужском” по двум причинам. Во-первых, руководство социальными институтами осуществлялось мужчинами и для мужчин; точно так же мужское господство проявлялось в иерархической структуре этих институтов и в управлении ими. Во-вторых, расширение фабричного производства и начавшийся несколько позже рост бюрократического аппарата совпадают по времени с достаточно подробно освещенным и хорошо документированным процессом “разделения сфер”, а также усиливающейся тенденцией ограничения женщин одной из них – “частной” сферой дома и пригорода. Несмотря на то, что представительницы рабочего класса и низов среднего класса на протяжении всего XIX в. продолжали работать вне дома, идеология, определяющая местом женщины домашнюю сферу, получила распространение (по крайней мере в Англии) во всех слоях общества, доказательством чего служит требование “семейной зарплаты” для мужчин представителями рабочего класса. Публичная сфера, в таком случае, несмотря на некоторое присутствие женщин в определенных ее областях, была мужским царством. И поскольку опыт “современного” имел место главным образом в публичной сфере, то он был прежде всего опытом мужчин.

В этом эссе, однако, я не буду следовать общепринятому социологическому анализу современности, который рассматривает этот феномен с точки зрения процесса рационализации и в силу этого относит приход современности к достаточно раннему времени. Я хочу рассмотреть более импрессионистские и эссеистские по своему характеру исследования тех авторов, которые определяют место специфически “модерного” в городской жизни: в скоротечной, недолговечной, обезличенной природе встреч в городской среде и в особом мировидении, выработанном городским жителем. Концентрация на такого рода предметах не чужда социологии: сразу же вспоминаются эссе Георга Зиммеля, посвященные исследованию социальной психологии городской жизни, равно как и более современная социология Ричарда Сеннета [Sennett], возродившая интерес к диагностике современной городской личности. Однако литературная критика отличалась особым вниманием к опыту современности, ранним провозвестником которого стал Шарль Бодлер – поэт Парижа середины XIX в.

(С. 38) ...Фланер – “гуляка праздный” – центральный образ эссе Беньямина о Бодлере и Париже XIX в. Улицы и магазины-пассажи города являются домом фланера, который, по выражению Беньямина, «идет, ботанизируя [botanizing], по асфальту».

### **Женщины и публичная жизнь** (с. 39–40)

...Название книги Ричарда Сеннета о современности «Закат человека общественного» [*The Fall of Public Man*] свидетельствует отнюдь не о патриархальной небрежности словоупотребления и представляется не случайным<sup>1</sup>. Публичной личностью XVIII в., равно как и предшествующих ему столетий, человеком общественным, который прогуливался по улицам, посещал театры, свободно общался с незнакомыми людьми, тем человеком общественным, чья “кончина” и предсказывается в книге, был, несомненно, мужчина. (Несмотря на замечание Сеннета о том, что обращение мужчины к незнакомой женщине в парке или на улице считалось вполне пристойным, поскольку ответ женщины отнюдь не предполагал возможности для мужчины навестить незнакомку, в его работе нет и намека на то, что к незнакомому мужчине может обратиться женщина.)

В городе XIX в., уже более не являющимся прежней ареной публичной жизни, фланер показывается лишь затем, чтобы быть увиденным, однако это не предполагает, что к нему можно обратиться. Как мужчины, так и женщины могли участвовать в этой приватизации индивидуальности, в культивировании заботливой анонимности, в этом уходе из публичной жизни, однако все более отчетливо проводившаяся граница между общественным и частным была средством, приковывавшим к частному женщин, тогда как мужчины сохранили свободу пребывания в толпе, бистро, пивных. Мужские клубы заменили кафе прежних лет.

Ни один из рассматриваемых мною авторов не упускает из виду того, что женский опыт жизни в современном городе отличается от мужского. Сеннет, например, признает, что «правом ускользнуть в публичную уединенность [public privacy] представители разных полов обладали в неравной степени», поскольку даже в конце XIX в. женщина не могла появиться одна в парижском кафе или лондонском ресторане. (...)

(С. 40–41) Зиммель, эссеистской социологией которого я пользовалась весьма избирательно, также уделял большое внимание, ...общественному положению женщин. Ему принадлежит ряд очерков о положении женщин, психологии женщин, женской культуре, женском движении и социальной демократии. Он был одним из первых, кто позволил женщинам посещать свои частные семинары, задолго до того, как они были допущены в качестве полноправных студентов Берлинского университета. Берман [Berman] также принимает во внимание тот факт, ...что женщины имели совершенно отличный от мужского опыт города. Он отмечает, что «Смерть и жизнь великих американских городов» Джейн Джейкоб [Jane Jacob, *The Death and Life of Great American Cities*] представляет собой ясно выраженный женский взгляд на город. Опубликованная в 1961 г. книга Джейкоб описывает ее собственную будничную жизнь в городе – жизнь соседей, владельцев

---

<sup>1</sup> Слово “man” может быть переведено двояко: как человек и как мужчина. – *Прим. перев.*

магазинов, маленьких детей, а также ее работу. Значение книги, говорит Берман, – в обнаружении того, что женщинам есть что сказать нам о городе и жизни, которую мы с ними разделяем, и что мы обеднили нашу собственную жизнь, равно как и жизнь женщин, до сих пор не прислушавшись к их голосам. Проблема состоит, однако, и в том, что литература современности также обеднила себя, игнорируя жизнь женщины. Денди, *фланер*, герой, незнакомец – все эти образы, ставшие концентрированным выражением образа современности, – неизменно образы мужские. Когда в 1831 г. Жорж Санд захотела приобрести опыт парижской жизни, проникнуться идеями своего времени и познакомиться с миром искусства, она переоделась в платье молодого человека, чтобы получить ту свободу, которую (как ей было хорошо известно), женщина не имела.

(С. 41) ...Переодевание сделало для нее доступной жизнь фланера, поскольку она прекрасно понимала, что не может принять не существовавшей роли фланирующей [*flâneuse*]: в одиночку женщины в городе прогуливаться не могли.

(С. 43–44) ...Для того, чтобы объяснить, почему женщина оказалась невидимой для литературы о современности, необходимо отказаться от некоторых предвзятых мнений. Имеются три причины этой невидимости, которые заключаются, во-первых, в природе социологического исследования; во-вторых, в последовательной в своей неполноте и пристрастности концепции “современности” и, в-третьих, в действительном положении женщины в обществе. Многие из этих проблем стали предметом обсуждения в недавних работах феминистских социологов и историков, но это стоит повторить в специфическом контексте проблемы современности.

### ***Невидимость женщин в литературе современности***

Зарождение и развитие социологии в XIX в. было тесно связано с постоянно усиливающимся разделением “публичной” и “частной” сфер деятельности в западных индустриальных обществах. Причиной этого послужило отделение работы от домашнего хозяйства, которое произошло вследствие развития фабрик и контор. К середине XIX в. это дало возможность населению ряда больших городов (например, таких, как Манчестер и Бирмингем в Англии) переселиться в пригороды. Несмотря на то, что женщин никогда не нанимали на равных с мужчинами условиях (финансовых, юридических или каких-либо других), это физическое разделение положило конец их тесному и значимому соучастию в том, что часто было семейным делом – будь то торговля, производство или даже профессиональная деятельность. Последовательное ограничение женщины миром дома и пригорода было во многом закреплено идеологией самостоятельных сфер. Именно на это время приходится процесс формирования нового публичного мира деловых организаций, политических и финансовых учреждений, а также социальных и культурных институтов. Все они, как

правило, являлись институтами мужскими, хотя изредка женщинам и могло быть предоставлено своего рода почетное представительство или же – в особых случаях – минимальное участие в качестве гостей. Во второй половине столетия увеличение удельного веса профессиональной деятельности сделало последнюю недоступной для женщин, и это касается и тех профессиональных сфер, в которых они были традиционно заняты (в частности, медицина), и профессий, из которых женщины были к тому времени уже исключены (право и академические виды деятельности), и наконец, тех, что явились новыми для женщин (например, обучение художественной деятельности). Для социологии как новой дисциплины значимость этого проявилась двояко: во-первых, в социологии доминировали мужчины и, во-вторых, сама социология интересовалась главным образом “публичными” сферами работы, политики и рынка. Действительно, женщина появляется в классических социологических текстах лишь в тех случаях, когда она имеет отношение к мужчине, семье или каким-либо второстепенным ролям публичной сферы.

(С. 46–47) ...Мы начинаем узнавать больше о жизни женщин, которые были ограничены домашним существованием в пригородах, о женщинах, многие из которых поступали на работу в качестве домашней прислуги и о жизни женщин из рабочего класса. Наступление современной [modern] эры повлияло на всех этих женщин, трансформируя их домашний и трудовой опыт. Восстановление женского опыта – это часть проекта по возвращению того, что ранее было сокрыто, и попытка заполнения лакун классических трудов. Феминистская ревизия социологии и социальной истории означает, что постепенно открываются те области социальной жизни и опыта, которые до сих пор были незаметны из-за неполноты теоретической перспективы и особого рода предвзятости основного направления социологии.

В отношении того, как будет выглядеть феминистская социология современности, ясности пока еще нет. Не ставится вопрос об изобретении фланирующей [flâneuse]: существенным представляется тот факт, что в силу существовавших в XIX в. полоролевых различий такой образ был бы невозможным. Так же точно было бы неуместным полностью отвергать существующую литературу о современности на том лишь основании, что описываемый ею опыт несомненно в большей степени определяется жизнью мужчин, и в значительно в меньшей – жизненным опытом женщин. Если этой литературе чего-то и не достает, то это касается описания жизни вне публичной сферы, опыта “современности” в ее частных проявлениях, а также весьма различной природы опыта тех женщин, которые *все же* появлялись на публичной арене: быть может стихотворения, написанного “незнакомкой” о ее встрече с Бодлером.

*Уильям Меррин*

## **Телевидение убивает искусство символического обмена: теория коммуникации Жана Бодрийара<sup>1</sup>**

В своих ранних работах Ж.Бодрийар делает на первый взгляд абсурдные заявления о том, что современные масс-медиа формируют некую “некоммуникацию” (non-communication)<sup>2</sup>. Чтобы разобраться, что он имеет в виду, надо обратиться к его понятию “символический обмен” и к истокам термина “символическое” в традиции Э.Дюркгейма.

### ***Коммуникация и конфронтация***

Источник французской социальной антропологии – труд Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни»<sup>3</sup>. Одной из важных идей во французской антропологии, как и социологии религии, было различие между сакральным и профанным. Под первым подразумевается состояние или опыт святости и причастности божественному, ко второму относят повседневную жизнь и производственную деятельность. В религии Дюркгейм видел символическое выражение общества: в результате причастности священным ритуалам происходит сближение сознания отдельных людей, и таким образом возникает реальная общность. Тогда коллективная сила уже формирует нас изнутри, становясь частью нашего естества. Согласно Дюркгейму, цель религии – возвысить нас над самими собой. Понять же, насколько это реализовалось, можно лишь снова погрузившись в повседневность.

Позднее М.Мосс исследовал системы договора и обмена в примитивных обществах, базирующейся на отдаче собственности, на даре. Капиталистическая экономическая система, согласно М.Моссу, «не является ни естественной, ни неизбежной, но она предопределена системой противоположных практик; система же дара базируется на группе, а не на индивидуе, на цикле, а не на рынке, на принуждении, а не на договоре, на потере, а не на выгоде, на обмене не только товарами, но и услугами и любезностями, наконец, на разрушении собственности» (с. 122). Материальное богатство в таком обществе вторично; в нем необходимо соблюдать три правила

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение Л.Вершининой по: Merrin W. ‘Television is Killing the Art of Symbolic Exchange: Baudrillard’s Theory of Communication’ in *Theory, Culture & Society*, SAGE 1999, Vol. 16(3), pp. 119–140.

<sup>2</sup> См.: Baudrillard, J. *For a Critique of the Political Economy of the Sign*, St. Louis: Telos, 1981.

<sup>3</sup> См.: Durkheim, E. *The Elementary Forms of the Religious Life*, London: Allen and Unwin, 1915.

– раздавать свое, получать взамен предлагаемый дар, а затем возвращать дар, но уже большей ценности. Выгода в таких отношениях может быть только временной. Дарение приносит почет и уважение, оно спланирует, более того, оно является основанием коллективной жизни: дружбы, отчуждения, иерархии. Дар приносит социальную власть через чувство долга перед дарителем.

Составляющими современных социальных и экономических отношений являются собственность, товар, деньги с их атрибутами выгоды и пользы. Дарение же требует отдачи всего дарителя, оно имеет двойственный характер коммуникации и конфронтации. Идеи Мосса распространяются и на современность, ибо они возвращаются как “давно забытый мотив”<sup>1</sup>.

Члены французского социологического Коллежа (Ж.Батай, Р.Кайюа – и др.) трактовали сакральное в духе Дюркгейма как «опыт по ту сторону повседневной действительности, как коммуникацию за рамками личной жизни, коммуникацию через коллектив и с коллективом» (с. 124). Кайюа и Батай обратили внимание на характер конфронтации и избыточности в таких отношениях. Кайюа характеризует коллективные празднества как момент перевоплощения всей человеческой сущности<sup>2</sup>, момент жертвования, обменов дарами, обновления, ритмы которого не совпадают с ритмами жизни профанной. Это время “торжества коллектива”. Однако современную жизнь такие неистовые празднества больше не нарушают, они сменяются мероприятиями индивидуального характера – отпусками, что знаменует собой упадок коллективной жизни.

Основная идея социологической школы Дюркгейма – движение мира в направлении профанного, утрата его интимности, когда мир все более становится объектом научного анализа. Но в современном мире должны быть и островки сакрального, поскольку человек пытается найти утраченную интимность, уйти от обедненности повседневной жизни<sup>3</sup>. Однако интимность мифа и религии двойственна: мы в ней нуждаемся, но она сводит интимную жизнь на нет.

### ***Панорама символического***

Социологическая школа Дюркгейма оказала влияние и на послевоенную французскую социологию, в частности на Ж.Бодрийара. Для него символическое – это область активных, присутствующих во всей полноте отношений, что свойственно примитивным обществам. Утрата сакрального для Бодрийара означает утрату символического, утрату возможности дара. При этом символические отношения разрушаются или вытесняются отношениями семиологическими, или знаковыми, что обедняет нашу

---

<sup>1</sup> См.: Moss, M. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Primitive Societies*, London: Cohen and West Ltd., 1966.

<sup>2</sup> См.: Caillois, R. *Man and the Sacred*, Westport, CT: Greenwood Press, 1980.

<sup>3</sup> См.: Bataille, G. *The Accursed Share*, Vol. One, New York: Zone Books, 1991.



жизнь. Говоря о том, что «исчезновение человеческих отношений (спонтанных, взаимных, символических) – это основная характеристика наших обществ»<sup>1</sup>, Бодрийар обращает внимание на господствующую роль “знака-формы” или “знака-ценности” в условиях капитализма. Утверждая собственные законы, означающие коды опосредуют все в нашей жизни – поведение, идентичность, отношения, мораль. Для современных людей характерно одностороннее потребление знаков в целях удовлетворения собственных нужд. «Мы больше не являемся продуктом наших собственных отношений; все, чем мы сейчас являемся, – это комбинация знаков, используемая в их относительной значимости» (с. 128). Однако замещение былых символических практик современными практиками потребления знаков не устраняет нашей потребности в двусторонних символических отношениях. Телевидение же пытается заместить двусторонние человеческие отношения, предлагая в свою очередь односторонние, где нет возможности ответной реакции на сообщение.

### *Дар речи*

Марксистский подход к масс-медиа не устраивает Бодрийара. Он скорее следует М.Маклюэну, считавшему, что форма коммуникации важнее ее содержания, и что современные медиа, став продолжением человеческого тела и органов чувств, радикально изменили структуру человеческих отношений. По мнению Маклюэна, «сами медиа являются сообщением, поскольку именно они формируют и контролируют ... форму человеческих сообществ и действий»<sup>2</sup>. Для Бодрийара также важно не содержание медиа, но скорее вносимые ими в человеческие отношения изменения, заключающиеся в утрате символических отношений, в упразднении обмена. Современная “симуляционная” модель медиа исключает полноту коммуникации, проявляющуюся во взаимодействии собеседников, в двусторонних отношениях. Символические же отношения – это отношения именно двусторонние: это речь и ответ на нее, это дар и дар ответный. Современные медиа – это речь без ответа. Но, как отмечал Мосс, односторонний дар всегда формирует определенные властные отношения. Нам предлагается дар, речь, но не дается возможность ответа не него, обратного дара. В результате мы оказываемся во власти медиа. Представляя собой одностороннюю передачу или, как говорит Бодрийар, не-коммуникацию, медиа превращают современную эпоху в «эпоху безответности»<sup>3</sup>. Телевидение подрывает искусство символического обмена, и с дальнейшим развитием современных технологий ситуация усугубляется. Бодрийар выступает не за свободу от медиа, а скорее за трансформацию их структур, за разрушение

<sup>1</sup> Цит. по: Gane, M. *Baudrillard's Bestiary: Baudrillard and Culture*, London: Routledge, 1991, p. 55.

<sup>2</sup> McLuhan, M. *Understanding Media*, London: MIT Press, 1994, p. 9

<sup>3</sup> Baudrillard J. *For a Critique of the Political Economy of the Sign*, St. Louis: Telos, 1981, p. 170

их монополии. По его выражению, «люди больше не общаются друг с другом, ...будучи изолированными речью без ответа»<sup>1</sup>. Ограниченный, симулированный ответ на эту ситуацию – звонки на телевидение и радио, опросы общественного мнения – не могут заменить реального ответа.

Бодрийар различает “человеческие отношения” и “коммуникацию”. Коммуникация есть явление современное – это «новый вид производства и функционирования речи, связанный с медиа и их технологиями»<sup>2</sup>. Для него коммуникация скорее технология, некий доминирующий способ производства. В прошлом люди не нуждались в коммуникации – они просто общались. Однако общество, сталкивающееся с отсутствием символических отношений, вынуждено имитировать их существование для того, чтобы как-то объединить изолированных индивидов. Для этого был создан целый аппарат технологии, науки и теории коммуникации. Сводя наши отношения к электронной связи, медиа не просто трансформируют человеческие отношения, они уничтожают их. В электронном коммуникационном пространстве мы утрачиваем свою самость, свое отношение к окружающему, к собственному отражению.

Односторонность, отличительная черта современного общества, ведет к потере идентичности, к односторонней презентации мира в нашей “порнографической” гиперреальности, не оставляющей места для обмена и превращающей как реальное, так и воображаемое в единственно возможное, к чему мы ничего не можем добавить<sup>3</sup>. Так, в частности, Бодрийар расценивает “не-войну в Заливе”, когда ответ Ирака был заведомо исключен “мгновенным технологическим наложением войны”<sup>4</sup>.

Вместе с тем для Бодрийара символическое “неминуемо”<sup>5</sup>. Символический обмен связан с властными отношениями. Создавая реальное пространство коммуникации, где имеет место двусторонность, речь и ответ на нее, где вызову противопоставляется ответный вызов, символическое преобразует тот цикл отношений, в которых доминирует односторонность. Только таким образом можно противостоять власти. Основной характеристикой символического является его обратимость. В двусторонних отношениях, особенно в отношениях дара, контакт бесконечно цикличен (как дар и ответный дар), он развивается по спирали, не останавливаясь, постоянно обновляясь, доходя, наконец, до критической точки, когда ответный дар уже не возможен. Невозможность ответа на ответный дар – именно

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, p. 172

<sup>2</sup> См.: Baudrillard, J. ‘The Vanishing Point of Communication’, lecture, 18, November, Loughborough University of Technology (text unpublished, provided by M.Gane and J.Baudrillard).

<sup>3</sup> См.: Baudrillard, J. *Symbolic Exchange and Death*, London: Sage Publications, 1993, p. 70–76; *Fatal Strategies*, London: Pluto, 1990, p. 50–70; *Seduction*, London: Macmillan, 1990, p. 28–36.

<sup>4</sup> См.: Baudrillard, J. *The Gulf War Did Not Take Place*, Sydney: Power Publications, 1995.

<sup>5</sup> Baudrillard, J. *Symbolic Exchange and Death*, p. 2

этого бояться власть имущие. Символические отношения – это единственно возможное оружие против власти. Символическое, по мнению Бодрийара, «будет воскрешено как единственная радикальная возможность, как неизбежный ответный дар, как неизбежный ответ на давление» (с. 134).

### ***Причастие отлученных***

Бодрийар указывает на “фатальную символическую дезинтеграцию” капитализма и связанную с этим проблему создания видимости участия, иллюзии символических отношений<sup>1</sup>. Он предлагает анализ общества в духе Дюркгейма, рассматривая конфликт между семиологическим и символическим. Капитализм, согласно Бодрийару, использовал несколько тактик включения народа в свою систему. В частности это стало возможно благодаря усиленной социализации людей в качестве рабочих, когда символические отношения заменяются формальными экономическими. Кризис 1929 г. выявил необходимость мобилизации людей в качестве потребителей, чтобы обезопасить систему воспроизводства. Реализация потребностей людей через развитие системы потребления создала иллюзию символического участия, сделала возможным выживание системы и свело на нет нужду в символических отношениях. При этом развитие производительных сил и потребления вело к возникновению маргинальных групп, кто «никогда не имел возможности говорить и быть услышанным»<sup>2</sup>. Возникла опасность того, что такие группы вскоре поставят под вопрос саму систему. Теперь уже не рабочий класс являлся движущей силой истории – его заменили молодежь, студенты, этнические и другие группы.

В силу отверженности многих социальных групп Бодрийар характеризует политику 1980-х гг. как время несвободы. «Она [политика] больше не направлена на то, чтобы социализировать, интегрировать, утверждать новые права человека. Под ширмой социализации и участия мы имеем рассоциализацию, раз-освобождение и изгнание»<sup>3</sup>. Сегодняшний мятеж – это уже не мятеж “отчужденного труда”, а мятеж тех, чья “причастность” полностью исключена; это бунт “молодежи” в сегодняшнем понимании этого слова. Ж.Батай отмечал, что сакральное, некогда бывшее объединяющим элементом, становится разрушительным для современного общества. Взрыв молодежной криминальности, социальных беспорядков, насилия – это высвобождение и ответ исключенных, это возвращение дара речи. Объединяющие связи заново открываются, символические отношения возрождаются – так мы сталкиваемся с метаморфозой жизни профанной. Однако это не объединение не в духе Дюркгейма. Речь скорее идет о коллективном приступе десоциализированного, маргинального, незаинтересованного, исключенного, лишенного свободы. Такого “причастие отлученных”.

---

<sup>1</sup> См.: Baudrillard, J. *The Mirror of Production*, St. Louis, 1975.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 137

<sup>3</sup> Baudrillard, J. *America*, London: Verso, p. 113

Их социальная пустыня уже неприемлема для них самих. Не имея возможности принимать участие в дарении, они насильственно возвращают исходящий от власти “дар”, который лишает их места в этой системе. Цикл дара начнется заново. Пространство речи и ответа будет восстановлено.

*Стюарт Холл*

## **Заметки о деконструировании “популярного”<sup>1</sup>**

Во-первых, следует сказать несколько слов о проблемах в исследованиях популярной культуры, связанных с периодизацией. Является ли характеристика основных переходов преимущественно описательной? Возникают ли они на основе собственно популярной культуры или внешних по отношению к ней факторов? С какими другими культурными движениями и периодами “популярная культура” наиболее непосредственно связана? Далее я хотел бы рассказать о некоторых проблемах, связанных с использованием терминов “популярное” и “культура”, поскольку известно, что при их соединении могут возникать весьма большие трудности.

...«В течение всего исторического перехода вначале к аграрному капитализму, а затем и в ходе формирования и развития индустриального капитализма осуществлялась ...борьба за культуру рабочих людей, классов трудящихся и бедноты» (с. 442). Капитал оказался заинтересован в культуре популярных<sup>2</sup> классов, поскольку создание совершенно нового социального порядка, основанного на самом этом капитале, требовало продолжительного, непрерывного переобучения, “пере-образования” людей. Однако, с другой стороны, этому “реформаторскому” процессу противостояла народная (popular) традиция. Характеризующие ее сопротивление и борьба, но и в то же время захват и экспроприация – в этом процессе мы постоянно наблюдаем активное разрушение определенного образа жизни и его трансформацию в нечто новое. Механизмы же этих “культурных изменений”, как их вежливо принято называть, заключаются как в активном выталкивании некоторых культурных форм и практик из центра популярной, народной жизни, так и в их “реформе”, осуществляемой, как всегда, “для наибольшего блага людей”.

“Трансформации” – центр внимания исследований популярной культуры. «Под ними я подразумеваю активную работу над существующими тра

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение Д.Тутаевой по: Hall, S. ‘Notes on Deconstructing the “Popular”’, in Storey, J. (ed.) *Cultural Theory and Popular Culture: A Reader*, Prentice Hall, 1998, pp. 442–453.

<sup>2</sup> Здесь: народных, низших. – *Прим. ред.*

дициями и видами деятельности, их переработку в нечто иное: они кажутся нам “устойчивыми”, хотя в разные периоды они состоят в разных отношениях с образами жизни трудящихся людей и с тем, как они определяют отношения друг с другом, с “Другими”, и с собственными условиями жизни» (с. 443). Популярная культура не сводится ни к популярным традициям сопротивления процессам трансформации, ни к установленным сверху и помимо них культурным формам. Это та почва, на которой осуществляются трансформации. «В исследованиях популярной культуры мы должны отталкиваться от двойной заинтересованности в ней<sup>1</sup>, в двойном движении притяжения и сопротивления, внутренне ей присущего» (там же).

При изучении истории популярной культуры XVIII в. мы представляем фактически в виде независимых культурных образований те популярные традиции рабочей бедноты, “народа”, которые получили характеристики “расхлябанности и неприбранности”, неуправляемости и чреватости социальным взрывом. Однако они не только постоянно оказывали давление на “высшее общество” – они были тесно связаны с ним множеством традиций и практик. Хотя культуры популярных классов являются культурами людей “по ту сторону политического общества и треугольника власти”, они никогда не находятся вне более широкого поля социальных сил и культурных отношений. И даже во время социального взрыва, при всей своей удаленности от представленности в областях права, власти и авторитета, “народ” «никогда слишком не перегибал палку в отношении патернализма, социального различия<sup>2</sup> и террора – тех условий, в которые он был постоянно ... заключен» (с. 444).

Наибольшие проблемы возникают при изучении глубоких трансформаций и структурных изменений, пришедшихся на период 1880-х–1920-х гг. Я убежден, что при изучении именно этого периода можно обнаружить корни того, с чем связана наша современная история и наши специфические дилеммы. В этот период изменилось все – произошло не просто смещение в соотношении социальных сил, но передел самих оснований политической борьбы. Не случайно, что многие характерные формы, которые мы сегодня считаем “традиционной” популярной культурой, зародились или приобрели свою современную форму именно в этот период, который «...мы могли бы назвать периодом “социального империалистического» кризиса» (там же). Как и в другие периоды, в это время также не существовало автономного, “аутентичного” слоя, представлявшего культуру рабочего класса. Например, большинство непосредственных форм популярных развлечений были насыщены “популярным империализмом”. Невозможно представить людей, которые «...каким-то образом умудрились бы построить “культуру”, не подвергшуюся воздействию наиболее сильной, доминирующей идеологии – популярного империализма; ...эта идеология

<sup>1</sup> Разных групп социальных агентов. – *Прим. ред.*

<sup>2</sup> Причем различия культурного, равно как морального и экономического. – *Прим. ред.*

...была направлена на них [популярные классы] так же, как и на всю Британию с ее изменяющимся положением в условиях мировой капиталистической экспансии» (там же).

Говоря о “популярном империализме”, необходимо рассматривать взаимоотношения народа и основного средства культурного выражения – прессы. Либеральная пресса средних классов в середине XIX в. создавалась на основе активного подрыва и маргинализации радикальной и рабочей прессы. Но к концу XIX – началу XX вв. начинается качественно новый процесс: активное, массовое участие зрелой рабочей аудитории в деятельности новой прессы – коммерческой, *популярной*. Это имело глубокие культурные последствия, потребовав полной реорганизации капитала и структуры культурной индустрии, мобилизации новых форм технологии, внедрения новых трудовых процессов, установления новых типов распределения в условиях новых массовых культурных рынков. Все это привело к новым культурным и политическим взаимоотношениям между господствующими и подчиненными классами, каждый из которых был по своему связан с популярной демократией, и на каждом из которых прочно основывается наш сегодняшний “демократический образ жизни”. Результаты этого ощутимы и сегодня в деятельности популярной прессы, все более агрессивной (по мере ее постепенного свертывания на фоне других медиа), прессы, исторически организованной капиталом для трудящихся классов и, вместе с тем, имеющей глубокие корни в психологии изгоя. Эта пресса и сегодня имеет власть репрезентировать класс “самому себе” в наиболее традиционной для него форме.

В исследованиях культуры мы часто говорим о вещах, с “культурой” как таковой не связанных. Мы говорим о перераспределении капитала, о подъеме коллективизма, о формировании “образовательного” государства столько же, сколько о популярных развлечениях, песне и танце. Изучение культуры означает исправление дисбаланса в исследованиях и определенный научный прорыв, при этом содержание культуры наиболее полно раскрывается при его рассмотрении в широком контексте общей истории. Изучение периода 1880-х–1920-х гг. является в определенном смысле пробным камнем возрождающегося интереса к популярной культуре, поскольку оно позволяет выявить определенные исследовательские трудности – как теоретические, так и эмпирические, что связано с характером той эпохи, когда ставились интерпретативные проблемы того же порядка, что и сегодня. В связи с этим следует указать на то, что в послевоенный период в популярной культуре произошел очень серьезный разрыв, произошли важные изменения в отношениях не просто между классами, но и между людьми вообще, что сопровождалось концентрацией и экспансией “новых культурных аппаратов”. В XX в. у исследователей возникает необходимость описывать историю популярной культуры, принимая во внимание монополизацию культурных индустрий на основе глубинной технологиче

ской революции (не сводимой к просто к изменениям в “технике”), а также описывать историю популярных классов, исходя, как и применительно к другим периодам, не из самих этих классов, но из понимания способов их взаимоотношений с институтами господствующего культурного производства. (...)

Я хотел бы сказать несколько слов о “популярном” – термине, имеющем множество значений.

Наиболее обиходное из них связано с тем, что что-то называется популярным, поскольку массы людей это слушают, покупают, читают и получают от этого удовольствие. Такое определение является “рыночным”, коммерческим, совершенно справедливо ассоциируемым социалистами с манипулированием и принижением культуры народа. В каком-то смысле оно противостоит описанному выше значению термина “популярное”.

Во-первых, если в XX в. огромное количество трудящихся людей действительно “потребляют”, будучи удовлетворенными теми культурными продуктами, которые в действительности основаны на манипулятивных и унижительных формах и отношениях, то они сами являются либо униженными, либо постоянно живущими в состоянии “ложного сознания”. В этом случае популярные классы – это “культурные тупицы”, не понимающие ничего в скармливаемом им просроченном “опиуме для народа”. В то же время, предоставляя нам известное удовлетворение от позиции отрицания массовых манипуляций и обмана со стороны капиталистических культурных индустрий, подобное понимание народа как исключительно пассивной, бездеятельной силы, представляет собой «...глубоко несоциалистический взгляд на вещи» (с. 446).

Во-вторых, хотя невозможно обойти манипулятивный аспект коммерческой популярной культуры, ряд радикальных критиков популярной культуры все же пытаются это сделать, противопоставляя ей другую, цельную “альтернативную” культуру – аутентичную “популярную культуру” и некий “подлинный” рабочий класс (в лице кого бы то ни было), остающиеся якобы не затронутыми коммерческими суррогатами. Однако такой подход, во-первых, игнорирует сущность отношений культурной власти – отношений господства и подчинения. Я утверждаю, что не может быть какой-либо аутентичной, автономной “популярной культуры” вне поля культурных сил и культурного доминирования. Во-вторых, при таком подходе недооценивается сила “культурной имплантации”. Вообще культурные исследования постоянно колеблются между идеальнотипическими полюсами “чистой автономии” и “тотального инкорпорирования”. В действительности же анализ на основе выделения одного из полюсов неприемлем. Люди – это не культурные тупицы, они в состоянии распознавать способы реорганизации и реконструкции условий жизни рабочего класса посредством их показа (вернее, пере-показа, ре-презентации), например, в телесериалах. Культурные индустрии действительно обладают сконцен

трированной в руках немногих культурной властью, способной постоянно перерабатывать наши представления о самих себе, пере-представлять их, подгоняя под “предпочтительные” определения доминирующей культуры. Однако эти индустрии не могут полностью завладеть нашим разумом и проецировать на него свои установки. Они могут найти отклик только у тех, кто реагирует на их сообщения, учитывая при этом внутренние противоречия восприятия подчиненного класса. Они действительно находят или расчищают некое пространство в умах тех, кто на них откликается. У культурного господства есть реальные эффекты – пусть не всеохватывающие. Если считать, что навязываемые культурные формы не эффективны, то это означало бы способность анклавного существования культур рабочего класса, во что я не верю. Я считаю, что ведется постоянная неравная борьба за реорганизацию культуры подчиненных слоев, хотя встречаются и моменты сопротивления этому. Словом, существует диалектика культурной борьбы, диалектика сопротивления и притяжения, что превращает сферу культуры в постоянное поле битвы. Здесь нет победы навсегда, есть только возможность выиграть или проиграть какую-либо стратегическую позицию.

Это первое, “рыночное” определение популярного обращает наше внимание как на реалии культурной власти – как на манипулятивный аспект коммерческой популярной культуры, так и на природу культурной имплантации, то есть элементы узнавания и идентификации, воссоздания узнаваемых опытов и установок, на которые люди готовы отвечать. Опасность возникает, если мы рассуждаем о культурных формах как о либо целиком коррумпированных, либо целиком аутентичных, в то время как они глубоко противоречивы, и кто-то играет на этих противоречиях, особенно когда они функционируют в сфере “популярного”.

Со вторым определением “популярного” проще. Это – *описательное* определение: популярная культура есть все то, что люди делают или делали. Оно близко к антропологическому пониманию культуры как традиций, обычаев, фольклора “народа” – того, что составляет его “специфический образ жизни”. Однако и с этим определением возникают определенные проблемы.

Во-первых, описательность определения оборачивается бесконечно расширяющимся инвентарем всего, что когда-либо данный народ делал, и возникает проблема, как при помощи другого, не описательного способа, отделить этот бесконечный список от того, что популярной культурой не является.

Вторая трудность вытекает из первой и связана с тем, что реальное аналитическое различие происходит не из самого описываемого списка, а из ключевой оппозиции, постоянно структурирующей поле культуры, – оппозиции между доминирующей элитарной культурой (не-народным) и культурой “периферии”, популярным. Однако эта оппозиция не конструи-



руется чисто описательно, поскольку в разные периоды изменяется само содержание этих категорий: популярное может приобрести культурную ценность, а элитарное может быть задействовано популярным. Структурирующий принцип заключается не в содержании постоянно изменяющихся категорий, а в движущих силах и отношениях власти, постоянно проводящих различие между элитарной, предпочтительной культурной деятельностью или формой и тем, что таковой не считается. Для поддержания различий между определенными категориями требуется целый набор институтов и институциональных процессов, в том числе образовательная система, литературный и академический аппараты, отделяющие “ценные” части культурного наследия и знаний от остальных.

В результате я обращаюсь к третьему, не самому простому определению. «“Популярное” в любой определенный период – это те [социокультурные] формы и деятельность, которые укоренены в социальных и материальных условиях определенных классов, которые воплощены в популярных традициях и практиках» (с. 449). Данное определение сохраняет ценность описательного определения, однако при этом предполагает необходимость определять популярную культуру как постоянно пребывающую в напряженных отношениях, в антагонизме по отношению к культуре доминирующей. «Это концепция культуры, поляризованной на основе культурной диалектики. Она рассматривает область культурных форм и деятельности как постоянно изменяющееся поле. Она также изучает отношения, постоянно структурирующие это поле, обуславливающие функционирование его доминирующей и подчиненной сторон. Она изучает процесс, посредством которого распространяются отношения господства и подчинения. Она, в свою очередь, рассматривает эти отношения тоже как процесс: процесс, посредством которого одно активно пропагандируется, с тем, чтобы другое могло быть низвергнуто. В центре такой концепции находятся изменяющиеся и неравные отношения сил, определяющих поле культуры, – то есть вопросы культурной борьбы и ее многочисленных форм. Основное внимание этой концепции сконцентрировано на отношениях между культурой и феноменом гегемонии» (там же).

В этом определении популярного нас интересует не “аутентичность, не органическая целостность культуры. Мы признаем противоречивость почти всех культурных форм, состоящих из антагонистических и нестабильных элементов. Значение культурной формы и ее позиция в культурном поле не являются внутренне присущими культуре, они не зафиксированы навечно. Значение культурному символу придает то социальное поле, в котором он находится, те практики, посредством которых он распространяется. То есть нас интересуют не исторически фиксированные объекты, но состояние культурных отношений – проще говоря, «классовая борьба в культуре и за культуру» (с. 449). Все, что выдающийся марксистский теоретик языка, публиковавшийся под именем Волошинова, говорил о знаке –

ключевом элементе всех означающих практик, – верно и по отношению к культурным формам. Он говорил, что язык – это набор знаков идеологической коммуникации, один и тот же для разных социальных классов, каждый из которых использует его, расставляя свои акценты. Эти акценты пересекаются в каждом идеологическом знаке, который становится полем борьбы. Благодаря этому знак и обретает свою жизненность и динамизм, возможность будущего развития. Правящий же класс стремится загнать внутрь борьбу между различными видами его артикуляции, придать ему вечный, надклассовый характер. Но каждый живой символ двулик. Это внутреннее диалектическое качество наиболее полно раскрывается во времена революций и социального кризиса.

Культурная борьба приобретает множество форм: инкорпорации, смещения, сопротивления, переговоров, возврата к былым формам. Однако мы должны рассматривать ее в динамическом аспекте как исторический процесс. Борьба неотвратима, но она никогда не ведется “на том же самом месте”, за те же ценности и смыслы. Мы должны обратиться к понятию “традиция”, так как культурный процесс (то есть культурная власть) в нашем обществе зависит от процесса определения того, что войдет в “великую традицию”, а что – нет, и этим занимаются институты образования и культуры. Притом, что традиция является жизненно важным элементом культуры, она не является простым продолжением старых форм. Скорее это способы связи и распространения элементов культуры, причем в отношении национально-популярной культуры они не имеют фиксированных или предписанных позиций, имеющих неизменные во времени значения. Более того, культурная борьба возникает именно в точке пересечения различных традиций, в их стремлении вырвать данную культурную форму из одного контекста и придать ей совершенно новый культурный резонанс или акцент. Таким образом, традиции не зафиксированы навечно в какой-либо универсальной позиции, в том числе и относительно определенного класса. Культуры, понимаемые не как “образы жизни”, а как “способы борьбы”, постоянно пересекаются; на этих точках пересечения и возникает культурная борьба. Антонио Грамши, говоря о возникновении новой “коллективной воли” и о трансформации национально-популярной культуры, замечает: «...То, что ранее было вторичным и подчиненным, даже случайным, теперь воспринимается как главное, становясь ядром нового идеологического и теоретического комплекса. Старая коллективная воля растворяется в своих противоречивых элементах, поскольку подчиненные [элементы] развиваются социально» (с. 451). Такое определение популярного выступает против самодостаточных подходов к популярной культуре, которые ценят традицию ради нее самой, обращаясь с ней антиисторично, анализируя формы популярной культуры как “вещи в себе”, с момента своего возникновения содержащие некие фиксированные и неизменные ценности или значения. Попытки создания универсальной популярной эс

тетика, основанной на эклектичном и случайном соединении мертвых символов, бесполезных мелочей, обречены, поскольку эти символы и кусочки глубоко двусмысленны и могут принимать различные значения в зависимости от обстоятельств.

Термин “популярное” состоит в очень сложных отношениях с термином “класс”. Все сказанное выше соотносится с понятиями классовой борьбы и классовых отношений. Тем не менее не существует прямого, непосредственного отношения класса к определенной культурной форме или практике. «Нет абсолютно отдельных “культур”, в историческом отношении парадигматически закрепленных за специфическими “цельными” классами, хотя и существуют ясно определяемые и разнообразные классово-культурные формации» (с. 452), пересекающиеся в поле социальной борьбы. В термине “популярное” раскрывается это смещенное отношение культуры к классам. “Популярное” соотносится с набором социальных сил, конституирующих “популярные классы”, с областью культуры приращенных, исключенных социальных слоев. Их противоположность – группы, обладающие культурной властью – также не представляют собой “целостный” класс, а просто иной союз классов, страт, социальных сил, составляющих “не-народ”. Это культура “блока власти”. Таким образом, центральным противоречием в области культуры является не “класс против класса”, а народ, популярное, против блока власти.

Как сам термин, так и коллективный субъект, к которому он нас отправляет – “народ” – чрезвычайно проблематичны. Точно так же, как не существует фиксированного содержания категории “популярная культура”, так же и нет и фиксированного субъекта, за ней закрепленного – “народа”. Природа политической и культурной борьбы – это способность заново *создавать* классы и индивидов как определенную популярную силу, преобразовывать разделенные классы и отделенных друг от друга людей (разделенных культурой настолько же, насколько и другими факторами) в популярно-демократическую культурную силу, то есть в “народ”.

«Иногда мы можем быть организованы как некая сила, направленная против блока власти: это исторический момент, когда можно создать истинно популярную, народную культуру. Но в нашем обществе, если мы так не организованы, то нас организуют в нечто противоположное: в эффективную популистскую силу, говорящую власти “да”» (с. 453). Популярная культура – это поле борьбы *за* культуру власть имущих и *против* нее; при этом одновременно борьба идет за саму популярную культуру. «Это [место], где гегемония возникает и закрепляется. Это не сфера, где социализм, социалистическая культура (уже полностью сформировавшаяся) просто находит свое “выражение”. Но это одно из мест, где социализм может конституироваться. Вот почему “популярная культура” имеет такое значение. Иначе, сказать по правде, мне на нее наплевать» (там же).

*Джеффри К. Александер*

## **Обещание культурной социологии: технологический дискурс и сакральная и профанная информационные машины<sup>1</sup>**

Постепенное проникновение компьютеров в современную жизнь углубляет то, что Макс Вебер назвал рационализацией мира. Компьютеры преобразуют каждое сообщение – вне зависимости от его значения, метафизической отдаленности или эмоционального очарования – в последовательность числовых битов и байтов. Эти последовательности соединяются с другими посредством электрических импульсов. В конечном счете, эти импульсы преобразовываются обратно в сообщения медиа. Есть ли более яркий пример подчинения человеческой деятельности безличному рациональному контролю? Если да, то мы оказываемся не только в веберовской “железной клетке”, но и в рамках теории обмена Маркса.

Этот вопрос о рационализации мира является теоретическим, но не только. Может ли реально существовать мир чистой технологической рациональности, ведь и действие и окружающая среда неизбежно интерпретируются нерациональным<sup>2</sup>? Усиление процесса централизации с помощью компьютеров – неоспоримый факт, и он должен быть каким-то образом интерпретирован и объяснен.

### ***Как подойти к значению серьезно***

Современная социология уже почти ушла от изучения социальных элементов, исходя из их положения в социальной системе. Поэтому то, что предлагается культурной социологией в плане более многомерной концепции общества, вполне реально. С точки зрения такой многомерности социальные элементы рассматриваются как опосредованные культурными кодами. События, деятели, роли, группы и институты как элементы конкретного общества есть часть социальной системы; они существуют одновременно в различных подсистемах, в частности в культурной. «Я определяю культуру как организованное множество многозначно понимаемых симво

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение А.Яцк по: Alexander, J.C. ‘The Promise of a Cultural Sociology: Technological Discourse and the Sacred and Profane Information Machine’, in Smelser, N, Munch, R. (eds.), *Theory of Culture*, Berkeley, University of California Press, 1992, pp. 293–323.

<sup>2</sup> Ссылка автора на его более ранние труды: Alexander, J.C. *Theoretical Logic in Sociology*, 4 vols., Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982–1983; ‘Action and Its Environments’, in Alexander J.C. (ed.), *Action and Its Environments: Toward a New Synthesis*, New York: Columbia University Press, 1988, pp. 301–333. – А.Я.

лических образцов (моделей), находящихся в рамках такой упорядоченной системы, в которой каждое социальное действие может быть понято как текст»<sup>1</sup>. Как социальные ученые мы должны прежде всего попытаться описать и проинтерпретировать внутреннюю жизнь мира в терминах его значений. Культура есть окружающая среда каждого действия, и наполнение мира значениями есть вхождение в организованную цепочку символических образцов, которые эти действующие индивиды понимают многозначно.

Культурные множества состоят из культурных кодов, образуя мощную структуру символических отношений, независимых от конкретной воли или речи социального деятеля. Культурные коды, как и живой язык, построены на знаках, содержащих и означающее и означаемое. Технология, например, является не только означаемым объектом, к которому обращаются другие, но и означающим, сигналом, внутренним ожиданием. Отношения между означающим и означаемым, как считает Соссюр, произвольны и имеют ненатуральную (привнесенную извне) природу. Значение и природа знака – его имя или внутреннее содержание не может быть понято как продиктованное природой означаемого, оно есть его внешнее, материальное измерение<sup>2</sup>. Значение знака устанавливается в отношениях с другими означающими, а системы знаков ведет к бесконечности таких отношений. Самый простой пример – бинарные отношения. В любой системе культурных множеств они представляют собой длинную вереницу, сеть аналогий и антитез, которые Эко назвал “похожими обозначаемыми”, и которые образуют “глобальные семантические поля”<sup>3</sup>. Наиболее глубоко это рассматривается в рамках культурной антропологии, в частности, в работах Леви-Строса<sup>4</sup> и Салинза<sup>5</sup>.

Целью культурной социологии является связь семиотических кодов с социальной и психологической средой в их действии. Одним из результатов концептуализации такого феномена можно назвать теорию дискурсов Мишеля Фуко, который представляют их как символические множества, олицетворяющие отношения в социальной системе по поводу власти, солидарности и других организационных форм<sup>6</sup>. Дискурс социализирует се

---

<sup>1</sup> См.: Ricoeur, P. ‘The Model of a Text: Meaningful Action Considered as a Text’, in *Social Research* 38, 1971, pp. 529–562.

<sup>2</sup> См.: Saussure, F. de. *A Course in General Linguistics*, London: Owen, 1964.

<sup>3</sup> См.: Eco, U. ‘The Semantics of Metaphor’, in Eco, U. (ed.) *The Role of the Reader*, Bloomington: Indiana University Press, 1979.

<sup>4</sup> См.: Levy-Strauss, C. *The Savage Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1967.

<sup>5</sup> См.: Sahlins, M. *Culture and Practical Reason*. Chicago: University of Chicago Press, 1976; *Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981.

<sup>6</sup> Сравните: Sewell, W. Jr. *Work and Revolution in France*, New York: Cambridge University Press, 1980; Hunt, L. *Politics, Culture and Class in the French Revolution*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984.

миотические коды и проявляется как серия нарративов-мифов, определяющих и стереотипизирующих устои общества<sup>1</sup>.

В рамках своих теорий религии, говоря о домодерной культуре, классики социологии создали убедительные модели действия социальных конструкций семиотических кодов. В частности, Дюркгейм, рассматривая примитивный тотемизм, говорит о том, что каждая религия организует социальные вещи через бинарные отношения *сакрального и профанного*<sup>2</sup>. Сакральные объекты были определенным образом защищены, общество поддерживало дистанцию между ними и другими, рутинными или профанными объектами. Социальные деятели не только пытались защитить себя от контакта с “оскверненным”<sup>3</sup> или профанным<sup>4</sup>, но и стремились хотя бы к опосредованному соприкосновению с сакральным.

Теория Вебера перекликается с теорией Дюркгейма, но подчеркивает то, что религия становится более формальной и рациональной, а цели веры меняются от страдания к спасению. Спасение создает теократическую проблему определения “от чего” или “для чего” кто-то должен быть спасен, и решает, привлекая фигуру Бога. Если боги или Бог имманентны, то верующие стремятся к спасению через внутренний опыт мистического контакта. Если Бог трансцендентен, то спасение приходит через следование его желаниям и указаниям.

Хотя Вебер и Дюркгейм в общем применяли такие культурные теории к домодерной религиозной жизни, существует возможность использовать их применительно к отдельным секуляризованным феноменам. Это возможно, если определять религию как семиотическую систему, как дискурс, открывающий психологическое и социальное структурирование культурных переходов.

### ***Социологические объяснения технологии: мертвая голова социальной системы***

Технология осязаема, наблюдаема, рациональна, однако она также является частью культурной системы как знак, означаемое и означающее, от которого социальные деятели не свободны в своих субъективных мнениях. Маркс видел в технологии воплощение научной рациональности, двигатель прогресса, элемент базиса<sup>5</sup>, при этом рассматривая ее лишь как материальную составляющую, а не форму знания. Функционалисты, в частности, Парсонс, критиковали Маркса за преувеличение роли технологии в базисе социальной системы, и отводили ей промежуточную роль, рассматри

---

<sup>1</sup> См.: Smith, H.N. *Virgin Land*, Cambridge MA: Harvard University Press, 1950.

<sup>2</sup> См.: Durkheim, E. *The Elementary Forms of Religions Life*, New York: Free Press, 1963.

<sup>3</sup> См.: Douglas, M. *Purity and Danger*. London: Penguin, 1966.

<sup>4</sup> См.: Caillois, R. *Man and the Sacred*, New York: Free Press, 1959 [1939].

<sup>5</sup> См.: Marx, K. ‘Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy’, in Marx K., Engels, F. *Selected Works*, vol. 1., Moscow: International Publishing House, 1962, pp. 361–365.

вая ее как продукт рационального знания материального свойства<sup>1</sup>. В частности, в своей работе «Наука, технология и общество в Англии XVII в.», Мертон пишет о непосредственной связи технологии и экономического роста<sup>2</sup>.

Критическая теория, исходящая из веберовской проблематики рационализации, расходится с ортодоксальным марксизмом в понимании взаимоотношений технологии и сознания. Но там, где Вебер видит машину как объективизацию дисциплины, учета и рациональной организации, теоретики критической школы переворачивают причинно-следственное отношение, говоря о том, что технология использует рационализированную культуру в угоду своей грубой психологической и экономической власти. «Если следовать по пути развития труда от кустарной мануфактуры к машинной индустрии», – пишет Лукач, – «то мы увидим непрерывное стремление к великому рационализированному процессу труда, переводимому в абстрактные, рациональные, специализированные операции»<sup>3</sup>. Эта технологически управляемая рационализация проникает во все социальные сферы и ведет к объективации общества и овеществлению сознания. Понимание стержневой идеологической роли технологии находит свою кульминацию в работах Маркузе<sup>4</sup>. Рассуждая об одномерном обществе, он в большей степени сосредотачивается на технологической продукции больше, нежели на ее капиталистической форме. Чистая, всепроникающая рациональность ведет к эффективности и росту, однако этот технический прогресс вырастает в целую систему доминирования и координации. Затем происходит институционализация в обществе чисто формальных и абстрактных норм рациональности. Эта технологическая культура подавляет любую способность поиска социальных альтернатив, а технологическая рациональность становится рациональностью политической.

Новые постиндустриальные теории еще более сложны, однако и они не преодолевают фатализма в критике “антикультуры”. А.Гоулднер говорит о том, что ученые, инженеры и лидеры стран видят мир с точки зрения рациональности в силу технологичности своей работы. Технократическая компетенция напрямую зависит от уровня образования, а оно, в свою очередь, зиждется на анализе последних разработок в сфере технологии. Более того, Гоулднер не считает недостатком такую замкнутую на себя технократическую компетенцию, принимая ее как парадигму универсализма, критицизма и рациональности. «Новая идеология придерживается того,

---

<sup>1</sup> См.: Parsons, T. ‘Some Comments on the Sociology of Karl Marx’, in Parsons, T. (ed.) *Sociological Theory and Modern Society*, New York: Free Press, 1967.

<sup>2</sup> См.: Merton, R.K. *Science, Technology, and Society in the 17<sup>th</sup>–Century England*, New-York: Free Press, 1970.

<sup>3</sup> Lukacs, G. ‘Reification and the Consciousness of the Proletariat’, in Lukacs, G. (ed.), *History and Class Consciousness*, Cambridge, MA: MIT Press, 1971, p.88

<sup>4</sup> См.: Marcuse, H. *One-Dimensional Man*, Boston: Beacon, 1963.

что общественные проблемы разрешимы на технологической основе, развивающейся в результате обучения...»<sup>1</sup>. Гоулднер также замечает, что весьма активная экспансия технической рациональности может вызвать новый вид классового конфликта и породить “рациональные” источники социальных изменений. В то же время это замечание отражает старое противоречие между технологическими силами и производственными отношениями, одетыми в постиндустриальную одежду.

Нельзя отрицать того факта, что в постиндустриальном обществе технология занимает центральные позиции. Происходит замена физической энергии информацией, и этот переход от ручного труда к умственному влияет на трансформацию классовой структуры. Я не разделяю точку зрения ни марксистов, ни функционалистов, ни постструктуралистов. На мой взгляд, информация и в современном обществе остается непознаваемым архивом фактов, символов, опосредованных глубоко эмоциональными импульсами и ограниченными определенными моделями построения смыслов.

### ***Технологический дискурс и спасение***

Мы должны научиться понимать технологию как дискурс, как знаковую систему, откликающуюся на социальные и психологические запросы. Согласно Веберу, современное индустриальное общество строилось на основе западной пуританской капиталистической практики, “мирского аскетизма”<sup>2</sup>, предполагавшего определенные инструментальные способы достижения спасения души. В отличие от буддизма индуизма, святость у пуритан направлена скорее на освоение полноты посюстороннего мира. Такой путь спасения и предопределил развитие безличной рациональности и объективизма. Однако Вебер, во-первых, лишь односторонне проанализировал современный путь спасения, который никогда не сводился лишь к аскезе. Во-вторых, “посюсторонняя” деятельность тоже может быть проникнута стремлением убежать от мира, включая бегство через эротизм или эстетизм.

Вебер считает, что понятие спасения будет существовать лишь до тех пор, пока наука допускает возможность внеземного вмешательства в процесс развития на земле. Дюркгейм же полагает, что люди всегда будут разделять мир на сакральное и профанное, и что каждый современный человек нуждается в мистическом опыте посредством ритуального соприкосновения с сакральным. Веберовская теория спасения может быть по справедливости оценена лишь в совокупности с дюркгеймовской, что наряду с сакральным и профанным, может способствовать осмыслению третьего

---

<sup>1</sup> См.: Gouldner, A. *The Future of Intellectuals and the Rise of New Class*, New York: Seabury, 1979.

<sup>2</sup> См.: Weber, M. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York; Scribners, 1958; *The Sociology of Religion*, Boston: Beacon Press, 1963.



феномена “*рутинного*”<sup>1</sup>. Рутинная жизнь находится в стороне от ритуального опыта, тогда как сакральная же и профанная – глубоко исполнены его.

### **Сакральная и профанная информационные машины**

Ожидание спасения было неотделимо от технологических инноваций индустриального капитализма. Изобретение парового двигателя, железной дороги, телеграфа и телефона, новые скорости и новые источники энергии подрывали былые представления об ограниченности времени и пространства, а сообщества технических специалистов, инженеров выделилось в особую касту типа священников. Машина в рамках этого технологического дискурса стала не только Богом, но и дьяволом. В этом смысле показательны действия луддитов или всем известное произведение Мери Шелли «Франкенштейн или современный Прометей», когда технология ассоциируется с темными силами.

Компьютеры легко вписались в существовавший дискурс. С самого их появления в 1944 г. и в течение последующих тридцати лет они виделись сакральными, мистическими объектами, обладающими невероятными способностями и олицетворяющими одновременно и сверхчеловеческое зло и сверхчеловеческое добро (интенсивное обозначение думающих машин в бинарных терминах, описанных Дюркгеймом и Леви-Стросом). Риторика спасения преодолевала этот дуализм в одном направлении, а апокалиптическая риторика – в другом. При этом укоренились более эмоциональные и метафизические представления.

Дискурс компьютеризации можно назвать эсхатологическим, так как в итоге он затрагивает вопросы жизни и смерти. Во-первых, спасение определялось в узко математических терминах. Считалось, что новый компьютерный мир в мгновение ока решит все проблемы, которые накапливались годами. К 1950 г. спасение определялось уже более широко: «Думающие машины делают нашу цивилизацию более здоровой и счастливой»; теперь люди будут способны «решать свои проблемы безболезненно – с помощью электроники» (N7/54)<sup>2</sup>. Но, как и в любой эсхатологической риторике, временные границы спасения были неопределенны. «Это пока еще не наступило, но уже началось. В течение 5-10 лет мы должны почувствовать трансформацию. Вне зависимости от сроков результат определен. Это будет социальное действие невероятных масштабов» (RD3/60). «Большинство видов человеческого труда исчезнет, люди наконец смогут стать сво

---

<sup>1</sup> См.: Caillois, R, *Op. cit.*

<sup>2</sup> Эта и последующие кодированные цитаты взяты из статей о компьютерах, опубликованных в период с 1944 по 1984 гг. Для анализа были отобраны 98 статей из популярных американских массовых журналов: «*Time*» (T), «*Newsweek*»(N), «*Business Week*» (BW), «*Fortune*» (F), «*The Saturday Evening Post*» (SEP), «*Popular Science*» (PS), «*Reader's Digest*» (RD), «*US News and World Report*» (USN), «*McCall's*» (Mc), «*Esquire*» (E). В ссылках буква обозначает название журнала, цифры – месяц и год выхода статьи.

бодными в выборе деятельности и займется совершенствованием себя, созданием красоты и развитием понимания других». (Mc5/65)

К началу 1970-х гг. стало ясно, что компьютерная эпоха наступила. В то время как контакт с сакральной стороной компьютера олицетворял спасение, его профанная сторона грозила разрушением. И от этого человечество теперь также должно было быть спасено. Во-первых, компьютеры внушали страх деградации, того что люди будут ими поглощены. Во-вторых, появилась фобия механического человека, который вытеснит “живое” человечество. Но более характерная фобия связана не с мутацией, а с манипуляцией: с помощью компьютеров «оценки могут быть подстроены ... с такой эффективностью, которая заставит диктаторов покраснеть» (SEP2/50). И, наконец, страх перед компьютерами связан с образом Антихриста, способного разрушить все общество, с образом “конца света”.

### **Заключение**

Обществоведы рассматривают компьютеризацию сквозь призму рационализированного дискурса современности: ее прогресс, который кажется безграничным, поскольку он «состоит прежде всего в эффективной систематизации общества»<sup>1</sup>. «В обыденном сознании», – пишет Лиотар, – «через миниатюризацию и коммерциализацию машин ... знание окультурируется, классифицируется, ... и эксплуатируется»<sup>2</sup>, при этом изучение того, что “невозможно перевести в числовую информацию” как бы исключается. Компьютеризация есть «проводник идеологии коммуникационной “прозрачности”»<sup>3</sup>, она ведет к снижению значимости “больших нарративов” и к кризису легитимации»<sup>4</sup> в том смысле, что она от еще дальше уводит нас от непрозрачности традиционной культуры.

Я пытаюсь опровергнуть такого рода рационалистическое теоретизирование, во-первых, опираясь на общие принципы культурной социологии и, во-вторых, применяя ее методы в исследовании развития технологии. Я считаю, что технология в рамках социальной системы не может функционировать сама по себе. Ее проявления представляют собой для людей нечто значимое, нечто имеющее под собой человеческие мотивы. Циркулирующая в социуме популярной литература о компьютерах свидетельствует о том, что идеология компьютеризации редко бывает основанной только на фактах, рациональности или абстракции. Она выступает во всей своей конкретике, образности, утопичности и даже дьяволизме, будучи вписанной в дискурсе, который можно назвать большим нарративом жизни.

---

<sup>1</sup> Ellul, J. *The Technological Society*, New York: Vintage, 1964, p. 89

<sup>2</sup> Lyotard, J.-F. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, p.4

<sup>3</sup> Ibid., p.5

<sup>4</sup> Ibid, pp.66–67

Однако то, что гипотеза рационализации ошибочна, вовсе не делает технологию привлекательной. Роль технологии в современной жизни заключается ни в освобождении человеческого сознания, ни в его порабощении силой экономической или политической реальности. Технология основывается на фантазиях, связанных с идеей спасения и апокалипсиса и на осознании того, что угрожающая обществу опасность реальна. Для того, чтобы обрести контроль над технологией в ее материальной форме, мы должны понять то, каким образом формируется дискурс спасения и проклятия, чтобы наконец отойти от него.

## РАЗДЕЛ III

# ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА

*Дэвид Крото и Уильям Хойнс*

### **Медиа и идеология<sup>1</sup>**

В западной социальной теории период 1960–70-х гг. XX в. характеризовался господством “тезиса конца идеологии”. Однако уже к середине 1980-х появляется ряд работ, авторы которых не стеснялись использовать давно “умерший” термин (Х.Ларрейн, Р.Будон, Дж.Б.Томпсон). Особую популярность использование понятия “идеология” приобрело среди специалистов в области социологии средств массовой коммуникации, где широко стали обсуждаться проблемы гегемонии и доминирования в информационном пространстве<sup>2</sup>. Сегодня рассуждения относительно проявлений идеологии в различных видах масс-медиа можно встретить во многих западных работах (Дж.Б.Томпсон, Т. Ван Дайк, Дж.Лалл и др.). Одно из самых интересных исследований на данную тему среди опубликованных в последнее время – книга Дэвида Крото и Уильяма Хойнса «Медиа/общество: индустрия, имиджи и аудитория», где авторы подробно анализируют роль средств массовой коммуникации в современном обществе. Крото и Хойнс не обходят стороной и идеологические проблемы масс-медиа. Прежде всего, они выделяют три главные, по их мнению, области массовой коммуникации, где идеология проявляется наиболее заметно. Это – программы новостей, кинопродукция и популярная музыка, которая сегодня неразрывно связана с телеиндустрией (MTV).

### ***Программы новостей***

Многие исследователи интересуются тем, каким образом идеология проявляется в информационных блоках новостей, на страницах печатных органов, на радио и на телеканалах, концентрируясь на социо-

<sup>1</sup> Реферативное изложение А.Тузикова по: Croteau, D., Hoynes, W. ‘Media and Ideology’, in Croteau, D. (ed.) *Media/Society: Industries, Images, and Audience*, Pine Press, 2000, pp.157–191.

<sup>2</sup> См. например, работы британского социолога Стюарта Холла. – *А.Т.*

семантической стороне проблемы (Дж.Б. Томпсон, Кресс и Ходжесс). В отличие от них Крото и Хойнс подчеркивают аспект конструирования социальной позиции журналистов. В США, например, большинство средств массовой информации декларируют свою идеологическую нейтральность. Главный их аргумент – тот факт, что их критикуют и с правых позиций (за излишний либерализм), и с левых (за излишний консерватизм). Журналисты же настаивают на своей равноудаленной позиции от обоих флангов и поэтому свою позицию “центра” рассматривают как неидеологическую. Атаки с двух сторон делают “нейтрально-центристскую” позицию довольно удобной для защиты. Это также связано и с тем, что идеология часто ассоциируется с некой радикальностью в оценках и целях. “Центристская позиция” в оценках происходящих в обществе событий претендует на сугубую прагматичность. Поскольку в современной политической культуре США идеология трактуется как нечто, чего надо избегать в пользу общественного консенсуса, то обозначенная позиция большинства журналистов выглядит легитимной, полезной и единственно возможной для демократии в глазах многочисленных зрителей и читателей. Последние как бы идентифицируют себя в той или иной степени с аналогичной позицией. Однако, как справедливо считают Д.Крото и В. Хойнс «...понимание интерпретации ежедневных новостей как простого отражения общественного консенсуса носит идеологический характер, так как программы новостей играют активную роль в формировании самого консенсуса»<sup>1</sup>. Автор убедительно показывает, как журналисты и ведущие программы новостей не столько обозначают “нейтрально-центристскую” позицию, сколько формулируют представления о том, что это значит в данный момент и в данном обществе. Таким образом, делают вывод Крото и Хойнс, нейтральный “центризм” вполне идеологичен и представляет собой культурное пространство, где производятся, воспроизводятся и циркулируют схемы интерпретации событий в духе доминирующих представлений о “здравом смысле”<sup>2</sup>.

Еще один важный момент – это повышенное внимание программ новостей к власти имущим, институтам и интересам истеблишмента, что делает медиа “либеральными” и “консервативными” в зависимости от трактовки существующего истеблишмента; таким образом, блоки новостей воспроизводят сложившийся социальный порядок и ценности, на которых он базируется. В социологии массовой коммуникации довольно распространена идея о том, что существует две наиболее часто проявляющие себя в программах новостей ценности – это “социальный порядок” и “национальное лидерство”. Определенный фокус в изложении и интерпретации событий задает “умеренный” взгляд на общество, что особенно проявляется в требованиях перемен, которые в целом поддерживают сложившуюся систему социальной иерархии. Наверное, поэтому, когда отсутствуют явно сенса

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, p. 167

<sup>2</sup> Common sense, что в английском также понимается, как обыденное знание. – *Прим. перев.*

ционные события, новости больше внимания уделяют действиям представителей элиты и ее институтов. Концентрируясь на власть имущих и иных представителях “верхов” медиа конструируют образ общества, лишённого видимого социального разнообразия. В результате этого политика предстаёт в виде некоего внутреннего дела властвующей элиты при участии незначительного числа привилегированных членов общества “извне”.

Данный фокус информационных выпусков связан также и с подбором кадров обозревателей-аналитиков. Чаще всего это те, кто имеет доступ к узкому “внутреннему кругу” политиков и кто, таким образом, получает статус экспертов. Поэтому и содержание дебатов в прессе и на телеканалах не выходит за пределы определённого дискурса, ведь дискуссии ведутся фактически между представителями одних и тех же кругов, разделяющих одни и те же ценности традиционной политики и верных традициям исключения из нее “чужих”, не принадлежащих к сконструированному консенсусу. Крото и Хойнс показывают, что в 1999 г. дебаты в масс-медиа относительно применения вооружённых сил США в Югославии развернулись преимущественно вокруг вопроса о том, использовать ли наземные силы, или ограничиться воздушными операциями. Практически не обсуждался вопрос о самой целесообразности военных действий в той ситуации. Чаще всего точки зрения, которые предлагаются общественности как соперничающие, имеют незначительные различия и находятся так сказать “внутри” истеблишмента. Публика крайне редко имеет возможность узнать из выпусков новостей об альтернативных мнениях и оценках событий, выходящих за пределы ограниченного рамками “общепринятого” спектра. Получается, что некто или нечто решает, что является допустимым для публичного обсуждения и заслуживающим общественного внимания, а что нет.

Помимо политических аспектов повестки дня, которые выступают как идеологические по своей сути, не меньшее значение имеют и экономические новости. Несмотря на кажущуюся “объективность” экономических проблем, их интерпретация в средствах массовой информации также носит идеологический характер. Как отмечают исследователи, большинство экономических новостей касается в той или иной форме подробностей из жизни бизнес-сообщества. В то время, как члены общества участвуют в экономической жизни в различных ролях – работников, потребителей, инвесторов и предпринимателей, – экономические новости концентрируются, прежде всего, на действиях и интересах инвесторов и предпринимателей. Наверное, не случайно, что практически каждая американская газета имеет раздел, посвящённый бизнесу, но редко имеет раздел, посвящённый потребителям или проблемам труда. В результате экономические новости – это в основном бизнес-новости, ориентированные на интересы корпораций и инвесторов. В центре внимания находятся котировки акций на фондовых биржах, которые служат индикаторами экономического “здоровья” стра

ны. Подобный подход фактически отождествляет экономическое благополучие страны с судьбами слоя инвесторов и демонстрирует идеологическую окраску. Например, рост курса акций известной компании AT&T в 1996 г. сопровождался ликвидацией 40 000 рабочих мест. Довольно трудно оценивать данный факт как однозначно позитивный для экономики страны, особенно с точки зрения тех, кто потерял работу (с. 168–169.). В своем исследовании авторы описывают мысленный эксперимент относительно того, как бы выглядели новости экономики, оценивающие ее состояние с точки зрения интересов наемных работников и профсоюзов, а также прогнозируют реакцию возможных критиков таких односторонних интерпретаций. «Скорее всего такой тип подачи новостей получил бы ярлык “анти-бизнес-новостей” или “профсоюзные новости” и критиковался бы за ...идеологичность в оценке фактов экономической деятельности» (с. 169). Однако существующий ныне подход никого не удивляет и считается как бы естественным. Крото и Хойнс отвергают мысль, что «сложившаяся практика является результатом прямого и непосредственного сговора медиа-магнатов, журналистов и бизнес элиты. Скорее это пример того, насколько сама практика, принятая в сфере продукции масс-медиа, подвластна идеологическому влиянию, воспроизводя преобладающие дискурсы, ориентированные на интересы “верхов” общества» (там же).

### ***Идеология в продукции Голливуда (два примера)***

Крото и Хойнс отмечают, что художественные фильмы представляют собой идеальное средство распространения идеологии в силу самой специфики жанра, позволяющего визуально демонстрировать желаемые формы социальных взаимодействий, а также возможностей эмоционально вовлечь зрителя в процесс самоидентификации относительно смыслов поступков экранных героев. Весьма наглядно это проявляется в смысловой нагрузке приключенческих боевиков и так называемых пост-вьетнамских фильмов, ставших чрезвычайно популярными в США в 1980-е гг. Проблему можно сформулировать следующим образом: “Какова идеология фильмов данных жанров? Как она соотносилась с общей идеологической ситуацией в стране того периода?” В рассматриваемой работе авторы анализируют самые шумевшие в жанре приключений в 1980-е – начале 1990-х гг. фильмы с участием актера Гаррисона Форда об Индиане Джонсе. Главной сюжетной и смысловой линией в них выступали подвиги мужественного героя (“нашего” парня), который в течение 90 минут триумфально расправляется со всевозможными злодеями (“чужими” парнями) и в конце завоевывает сердце прекрасной дамы. Один из фильмов перемещает героя в экзотические страны и держит зрителя в постоянном напряжении за счет того, что зло и пути победы над ним выглядят трудно предсказуемыми. Практически та же сюжетная линия выдерживается и в таких известных американских фильмах, как «Крепкий орешек» и «Скорость». Если коп

нуть глубже, то можно увидеть, как подобные сюжеты резонируют с реальными социальными проблемами. Идеологически ключевым для подобных фильмов является конструирование главных образов положительного героя (нашего, “хорошего” парня) и злодея (чужого, “плохого” парня). Сам сюжет просто демонстрирует, как в условиях данного социального консенсуса понимается природа зла и добра, силы и слабости, мужества и трусости. «Основная идеологическая функция фильмов приключенческого жанра в стиле боевика – обозначить четкий и однозначно трактуемый для большинства водораздел и конфликт между *нами* и *ими*, символизирующими зло и опасности исходящие со стороны *не наших* [выделено А.Т.]» (с. 172).

Существует, конечно, множество разновидностей сюжетного оформления данного основного конфликта между “нашими” и “чужими” парнями. Крото и Хойнс показывают, как для этого используются образы “своих” (чаще белых американских парней), которые противостоят и побеждают “плохих” иностранцев (Брюс Уиллис против иностранных террористов в «Крепком орешке»). Другая распространенная линия – противостояние представителей “цивилизованного” и “нецивилизованного” миров (Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Храм Судного Дня»). Наконец, третьей типичной линией конфликта является борьба представителя закона и порядка против тех, кто олицетворяет преступность и социальный хаос (фильм «Скорость»). В любом случае “наш” парень одолевает зло, представленное в образе “чужака”, убивая его в эффектной и напряженной финальной поединке. Данная метафоричность призвана символизировать восстановление определенного социального порядка и демонстрировать границы между тем, что считается социально приемлемым и тем, что не считается таковым. Отметим, что зло физически ликвидируется к большому удовольствию зрителей и таким образом пропагандируется именно *насильственный* метод борьбы с ним. Однако фильмы данного типа имеют более глубокую идеологическую нагрузку. «Они не просто склонны демонизировать “чужих” в стиле ксенофобии, но и показывают, при каких условиях некоторые “чужие” могут быть интегрированы в западное общество (например, мальчик Шорт Раунд, приятель Индианы Джонса в фильме «Храм Судного Дня»). “Чужие” социальные характеристики могут либо быть уничтожены вместе с их носителями, либо адаптированы и “укрошены” путем интеграции в иерархическую структуру современного западного общества, где теперь уже “*нашим чужим*” уготовано место у подножия социальной пирамиды. В целом данный жанр кинематографии олицетворяет собой версию великой американской мечты, где суровый и мужественный герой добивается успеха, преодолевая трудности и покоряя “чужой” мир во всех его проявлениях». (с. 172).

Практически ничем не отличаются по данному идеологическому контексту и фильмы в жанре фантастический вестерн. Вся разница заключает



ся в том, что герой действует на других планетах, в космосе или в условиях будущего, в котором осязаемо присутствуют черты современного общества, как они обычно изображаются в сегодняшних масс-медиа. Несколько особняком стоят так называемые пост-вьетнамские фильмы. Их объединяет стремление заново переписать недавнюю историю и компенсировать за счет подвигов экранных героев пошатнувшуюся веру в могущество и нравственное превосходство “наших парней”. Наиболее известными и культовыми в своем жанре являются такие блокбастеры, как «Рэмбо – первая кровь» и «Черные тигры». Сюжет типичен: главный герой возвращается десятилетие спустя во Вьетнам, чтобы освободить из плена своих боевых товарищей, преданных прежним американским правительством. Образы вьетнамских военнослужащих до предела демонизированы, и их уничтожение разнообразными способами в процессе освобождения американских военнопленных выглядит как торжество справедливости. Идеологическая нагрузка выступала тут в открытой форме и знаменовала собой переоценку ценностей в духе “нового патриотизма” эры Р.Рейгана. Преодоление вьетнамского синдрома, выразилось в желании “переиграть” войну и изобразить американцев победителями, пусть и в локальном масштабе экранных сражений. Общество под воздействием “новой” идейной атмосферы в стране, созданной в том числе и усилиями масс-медиа, очень болезненно переживало поражение США во вьетнамской войне. Собственно сами исторические события десятилетней давности были реинтерпретированы в терминах “предательства армии политиками и прессой” и “необоснованных уступок Вьетнаму”, поэтому общественность просто жаждала реванша и оснований для восстановления пошатнувшейся национальной гордости пусть даже и в иррациональном стиле типа “права она или нет, но это моя страна”<sup>1</sup>. Кроме этого, общественное мнение было в тот момент очень чувствительно к отсутствию уверенности в том, что США есть самая мощная в военном отношении держава на Земле, что было типично для Америки времен Эйзенхаура, Кеннеди и Джонсона. Не случайно идею преодоления вьетнамского синдрома активно использовал Р.Рейган (кстати, он очень любил героев С.Сталлоне). Фильмы жанра “назад во Вьетнам” практически выступили составной частью его идеологического проекта, связанного с отказом от разрядки в области международных отношений, на восстановление глобального военного превосходства США и силового оппонирования коммунизму с позиций морального превосходства, а la “защита свободы и прав человека” от “Империи зла” и “мирового терроризма”. Победы над “силами зла” на экране были как нельзя кстати. Авторы цитируют мнение (S.Jeffords), высказанное в 1989 г., согласно которому подобные фильмы были не просто виртуальным восстановлением утраченной национальной гордости, а частью процесса

---

<sup>1</sup> “Love it or leave it” (люби ее, или покинь ее). – А.Т.

“ремаскулинизации”<sup>1</sup> американского общества, что в целом также являлось частью идеологического проекта Рейгана. «Маскулинизация политики и всего общества мыслилась командой Рейгана как одновременный ответ на вызовы со стороны “левых” пацифистов и набирающего обороты феминизма. Фильмы упомянутого жанра по большому счету были реконструкцией слегка подзабытого за “бурные шестидесятые” образа “настоящего американского мужчины – мачо”, крутого и решительного, не испытывающего интеллигентских комплексов, а также четко разделяющего мир на “наших” и “чужих”. Герои С.Сталлоне и Ч.Норриса – Рэмбо и Брэддок – возвращались во Вьетнам восстановить справедливость, утраченную по вине прежнего недостаточно решительного (как бы “женственного”) правительства, и доказать всем, и себе в том числе, что в Америке еще есть “настоящие мужчины”. “Бренд крутизны”, сконструированный в 1990-е гг., стал составной частью политической культуры и сыграл свою роль в идеологическом прикрытии уже популярных среди обществственности военных акций в Панаме и Гренаде, а также в еще более популярной войне против Ирака в 1991 г. Кстати, в антииракской войне телеобразы американских военных ненамного отличались от сконструированных медиа в конце 1980-х кинообразов в фильмах типа «Топ ган», где герой Тома Круза олицетворял собой “новую мужественность”.

На первый взгляд это может показаться странным, но немалую идеологическую нагрузку несут и “мыльные” телесериалы. Данный жанр обыгрывает своеобразный эффект присутствия зрителя в жизни “типичной” (практически соседской) семьи и “отражает существующую реальность”. При этом в 1960–1970-е гг. в роли “типичной семьи” в США выступали семьи белых представителей верхушки среднего класса, а “реальностью” обозначались сюжеты, сконструированные на основе именно их ценностей и взглядов на жизнь. Американские исследователи неоднократно ставили вопросы “что за истории рассказываются в телесериалах?”, “каким образом в них интерпретируются проблемы, имеющие общенациональное значение?”, “каким образом показываются различные социальные категории общества, и что именно в их поведении изображается как норма, а что как девиация?” Крото и Хойнс подчеркивают, что предлагаемый с телеэкрана “образ нашей жизни” страдает неоправданной генерализацией, выдавая социально-фрагментарные характеристики за социально-тотальные. Кроме того, создается иллюзия, что герои сериалов как бы реально существуют, а сюжеты взяты из настоящей жизни и образ данной “настоящей жизни” впечатывается в сознание зрителей со всеми вытекающими идеологическими последствиями. Если герои сериалов 1950–60-х г. проживали в условиях своеобразной реальности – “пригородной утопии”<sup>2</sup>, где многие со

<sup>1</sup> То есть возвращение мужчинам лидирующих, господствующих позиций. – А.Т.

<sup>2</sup> Напомним, что в пригородах проживают большинство представителей “типичного” американского среднего класса. – А.Т.

циальные проблемы или легко разрешались, или просто не существовали, то реальность героев сериалов 1970–80-х гг. выглядит уже более конфликтной. Тем не менее, нарративный характер сюжетов сохранился и в наши дни. Сюжеты сериалов, не просто описывают реальность, скорее они ее конструируют и одновременно пропагандируют способы интерпретации и разрешения социальных проблем. Добавим, что и сама методология хэппи энда, типичная для сериалов, направлена на то, чтобы убедить население в том, что все в конце концов, будет “о’кей”. Нельзя сказать, что это плохо в принципе, но это в любом случае выполняет идеологическую функцию, направленную на поддержание “великой американской мечты”.

Такая тема, как сексуальные меньшинства, тоже нашла отражение в у авторов. «Акцентуация культурного конфликта в 1990-е гг. отразилась на имидже “типичной американской” семьи; более того, происходит идеологическая конкуренция за право определять свойства данной “типичности” между неолиберальным и радикально-либеральным дискурсом с одной стороны и с консервативным дискурсом – с другой. Например, сериалы типа «Уилл и Грейс», в которых показывается жизнь семьи в составе гомосексуально ориентированного мужчины и гетеросексуальной женщины, отражают довольно острый конфликт вокруг интерпретации понятия личной свободы. В целом же скорее исключением, чем правилом являются сюжеты демонстрируемых на популярных общенациональных каналах сериалов, в которых события разворачиваются на фоне менее “типичном” – скажем, в рамках межрасовых семей». (с. 178–179)

### ***Идеологический потенциал рэп-музыки***

Масс-медиа с точки зрения большинства западных социологов не представляют собой средства коммуникации, ангажированного какой-то одной политической идеологией. «В сегодняшнем американском обществе медиа суть скорее место, где высвечивается или проблематизируется та или иная грань доминирующей версии “американской мечты”, неважно в какой – консервативной, демократической или даже в “зелено-коммунитаристской” политической упаковке» (с. 179). Но возможно ли, чтобы масс-медиа бросили вызов господствующей интерпретации социального порядка? Крото и Хойнс согласны с тем, что музыка в стиле рэп представляет собой критику доминирующих в обществе идеологических схем понимания социальной реальности с позиций прежде всего черной части населения. Причем, эта “критика идеологии” обеспечивается именно средствами массовой информации, популяризирующими данный жанр. «Рэп предлагает альтернативную версию интерпретации того, как власть и господство структурированы в современной Америке. Критический пафос рэпа во многом направлен на отрицание существующих социальных институтов – таких, как полиция, судебная система, образование, – играющих основополагающую роль в поддержании нынешнего социального порядка.

С позиций рэпперов, именно эти социальные институты ответственны за воспроизводство расового неравенства, которое они категорически не приемлют» (с. 180). Критика возникает не обязательно в открыто лозунговом стиле – гораздо чаще сами тексты рэп-песен имманентно содержат критический и даже вызывающий контекст. Вызов обществу и есть фирменный знак субкультуры рэпа, для которой свойственны непечатные выражения, провокационные жесты и шутки в адрес истеблишмента. Крото и Хойнс согласны с тем, что рэп представляет собой критику господствующих “картинок” реальности с позиций жизненного опыта черной молодежи, занимающей низшие ступени в социальной иерархии. “Мы против них” – данный тезис неотделим от рэпа. Авторы подчеркивают, что «рэп открыто маскулинен и гомофобен. Женщины часто изображаются в открыто оскорбительной для феминистски настроенной части американского общества манере, воспеваются допустимость насилия по отношению к женщинам и грубая мужская сила. Таким образом, рэп – это форма идеологической борьбы за право интерпретировать в определенной манере социальные отношения между белым большинством и черным меньшинством» (там же). Кроме этого, рэп культура – это борьба за право быть услышанным и за место в публичной сфере. Возможность собирать большие аудитории черной молодежи и публично (в том числе и в масс-медиа) излагать свое резко критическое видение социальных отношений делают рэп феноменом социально-политической жизни, или “скрытой политикой”. Но масс-медиа в силу своей сегодняшней специфики помогают “приручить” и рэп. Крото и Хойнс отмечают, что, во-первых, в настоящий момент рэп-музыка очень популярна и среди белой молодежи среднего класса, которая конечно не интерпретирует содержание текстов песен аналогично своим черным сверстникам, но является массовым потребителем рэп-продукции. Во-вторых, дух коммерции, пронизывающий медийное пространство, успешно превращает рэп с его идеологической альтернативой в просто хорошо продаваемый товар под лозунгом “купи себе немножечко социального протеста – это круто!”

Как явствует из описываемой работы, термин “идеология” не потерял свой научный потенциал. Он продолжает вполне плодотворно применяться в социальной теории и служить концептуальной базой эмпирических исследований.

Эндрю Хейвуд

## Политические идеи и понятия<sup>1</sup>

В данной главе автор рассуждает о сущности языка, о том, как язык используется в политическом дискурсе, о том, что представляют собой “понятия” и “идеи”, что такое политика и о месте идеологии в политической мысли.

Согласно Хейвуду, язык должен быть ясным и понятным в целях не только взаимопонимания людей, но и выражения их взглядов. С одной стороны, язык, подобно зеркалу, отражает реальность, но, с другой стороны, он есть активное средство определения позиции человека по отношению к окружающему миру. Роль языка в политике связана с тем, что политика – это всегда социальная деятельность, а язык определяет ее содержание и направление, с точностью выражая политические намерения. Однако, в действительности это не всегда так. Один и тот же термин может наделяться различными смыслами: например, вторжение армии одной страны на территорию другой может быть рассмотрено либо как нарушение суверенитета последней, либо как освобождение ее народа.

В конце XX в. под давлением феминизма и движений за гражданские права, были предприняты попытки “очищения” языка от сексистских, расистских и других подтекстов. Впрочем со временем, как это уже бывало, значения слов притираются, приводя к упрощению и даже искажению реальной сложности мира. Опираясь на историю политико-философских учений, автор рассматривает сущность того, что представляют собой “идеи” и “понятия”. Само по себе понятие – это абстрактная идея чего-либо: например, понятие “президентство” отсылает нас не к определенному президенту, а объединяет в себе ряд идей об организации исполнительной власти. Понятия – это своеобразные блоки человеческого знания. Что касается политических идей и понятий, то следует иметь в виду, что большинство из них многолики. Например, такие понятия как “власть”, “справедливость” и “свобода” простираются очень далеко, у них нет постоянного и точного определения.

Многие политические понятия несут определенную ценностную нагрузку. Ценностные или нормативные понятия, такие, как “свобода”, “право”, “равенство” и так далее, скорее предписывают определенные формы поведения, нежели описывают события и факты. Иногда достаточно сложно отделить политические ценности от моральных, философских и идеологических убеждений. А такие понятия, как “власть”, “авторитет”,

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение Н.Пестряковой по: Heywood, A. *Political Ideas and Concepts: An Introduction*, New York: Saint Martin's Press, 1994, глава 1.

“порядок” и “закон” обращаются к тому, что уже существует, таким образом, они имеют описательный характер, являясь ценностно нейтральными. Однако факты и ценности тесно взаимосвязаны, поэтому даже описательные понятия имеют моральный и идеологический подтекст. Это видно на примере использования такого понятия, как “авторитет”: консерваторы, которые стремятся навязать порядок в обществе сверху, защищают авторитет как законный и нравственный; анархисты, которые считают, что правительство и закон – это зло, представляют авторитет как силу подавления свободы и достоинства человека.

В анализе политических идей и понятий следует учитывать роль идеологии, в том числе трех основных идеологических перспектив – либерализма, социализма и консерватизма. Каждая из них породила целый ряд традиций и течений, и порой конфликты в пределах одной идеологии бывают более ожесточенными, чем между разными идеологическими направлениями. “Идеологию” автор рассматривает как более или менее систематизированную направленность идей, обеспечивающих основание для определенных видов организованного социального действия. Идеология может быть направлена как на поддержание существующего в обществе порядка или на его улучшение, так и на его устранение.

“Политическая наука” по существу является эмпирической; она претендует на описание, анализ и объяснение актуальных форм правления в непредвзятой манере. Другое дело – “политическая теория”, которая включает анализ идей и доктрин, являющихся центральными по отношению к реальной политической культуре. Традиционно политическая теория имеет форму истории политической мысли. Она также изучает способы и результаты политического действия, имея дело с такими этическими вопросами, как “почему я должен подчиняться государственной власти?”, “как должны быть распределены общественные вознаграждения?” и т.д. Существует и так называемая официальная политическая теория, строящая модели политики, основанные на определенных процедурных правилах, и предполагающие рациональное, эгоистическое поведение личностей. Например, официальная политическая теория пытается лучше понять поведение таких социальных деятелей, как избиратели, политики, лоббисты и бюрократы.

Что касается “политической философии”, то за данным термином кроется любая абстрактная мысль о политике, законе или обществе. Политическая философия стремится к решению двух задач: во-первых, она должна критически оценивать состояние политического доверия и, во-вторых, она должна пытаться прояснить и совершенствовать понятия, используемые в рамках политического дискурса.

## *Джон Хатчинсон и Энтони Смит* **Национализм<sup>1</sup>**

### ***Из введения***

Национализм является одной из наиболее мощных сил в современном мире, однако его изучению до недавнего времени уделялось сравнительно мало внимания. Как идеология и движение, национализм сыграл большую роль во времена Американской и Французской революций, но, несмотря на это, он не был предметом исторического исследования до середины XIX в., равно как и социального научного анализа – до начала XX века. Последовательное изучение национализма началось лишь после Первой мировой войны, и только начиная с шестидесятых, после расцвета антиколониальных и этнических национальных движений, он стал предметом надлежащего изучения нескольких дисциплин. (...)

### ***Основные понятия***

Вероятно, основной трудностью при изучении наций и национализма является проблема выведения адекватных и согласованных определений ключевых понятий – нации и национализма.

Понятие “нация” рассматривали в двух аспектах: в аспекте определения самого понятия, получающего различное смысловое наполнение у представителей различных школ; кроме того, нация рассматривалась как форма идентичности, противостоящая другим типами коллективной идентичности. Несмотря на единодушное признание того, что понятие нации следует отличать от других понятий коллективной идентичности, таких, как класс, религия, род, раса, религиозное сообщество, существует множество разногласий относительно роли этнических составляющих нации (в противоположность составляющим политическим) или же относительно баланса между “субъективными” (воля, память) и более “объективными” (территория и язык) элементами нации. К числу дискуссионных относится вопрос о природе этничности и ее роли в национальной идентичности. Часто признается влияние и даже господство национальных привязанностей и национальных идентичностей над привязанностями и идентичностями класса, рода и расы. Вероятно, лишь религиозные привязанности могут соперничать с национальными по своему масштабу и силе. В то же время, национальные привязанности могут переплетаться с другими формами коллективной идентичности и даже перерасти в них...

---

<sup>1</sup> Перевод М. Руденко по: Hutchinson, J., Smith, A.D. (eds.) *Nationalism*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

При переходе к рассмотрению к другому ключевого понятия – национализма – ситуация проясняется лишь незначительно. Здесь также существуют различные пути определения понятия: одни приравнивают национализм к “национальному чувству”, другие – к националистической идеологии и языку, третьи – опять же к националистическим движениям. Кто-то подчеркивает культурные аспекты национализма, а кто-то – политические. В последнем случае, похоже, возможен синтез в том смысле, что идеология и политическое движение включают как политическое, так и культурное измерения. Так, ...Руссо, Гердер, Фихте, Корэ и Маццини видели в национализме идеологическое движение. По их мнению, которое совпадает с мнением большинства последовательных националистов, националистическое движение вобрало в себя жизненные устремления современных людей к автономии и самоуправлению, единству и абсолютному суверенитету, к аутентичной идентичности.

Руссо, Гердер, Фихте, Корэ и Маццини понимали национализм прежде всего как доктрину народной свободы и суверенитета. Народ должен быть освобожден, то есть свободен от каких-либо внешних ограничений, волен определять свою собственную судьбу и быть хозяином в своем собственном доме, распоряжаться своими собственными ресурсами, слушаться только своего собственного “внутреннего” голоса. Но это означает братство. Люди должны объединиться, уничтожить все внутренние разделения; они должны собраться вместе на единой исторической территории – Родине; они должны обладать равенством перед законом и разделять единую общую культуру. Но – какую культуру и какую территорию? Только Родину, которая является “их” по праву исторического владения, землю их предков; только культуру, которая была “их” по праву наследования, которая передавалась из поколения в поколение, и, следовательно, является выражением их аутентичной идентичности.

### *Автономия, единство, идентичность*

После того, как эти идеалы были популяризированы Руссо, Гердером, Фихте, Корэ и Маццини, они повсеместно стали лозунгами националистов. Эти идеалы сделали более конкретными цели националистических движений, большинство из которых основывалось и вдохновлялось интеллектуалами. Большинство этих движений обнаружило сходство с моделью, описанной Мирославом Хрочем на материале Восточной Европы. Начатое интеллектуальной элитой, движение затем разрастается и охватывает классы профессионалов, которые часто действуют как политические агитаторы, оно в конце концов распространяется на другие части общества – на массы служащих, ремесленников, рабочих и даже крестьян. Безусловно, не все движения достигают такой конечной фазы, следовательно, мы не можем согласиться с Томом Нейрном [Nairn] в том, что национализм всегда есть



межклассовое и популистское движение, хотя он обычно и стремится представить себя именно таким.

### **Корни национализма**

Многие историки согласятся с тем, что как идеология и дискурс национализм восторжествовал в Северной Америке и Западной Европе во второй половине XVIII в., а вскоре после этого утвердился и в Латинской Америке. Среди дат, часто выделяемых для обозначения времени пришествия национализма, называют 1775 г. (первый раздел Польши), 1776 г. (Американская Декларация независимости), 1789 и 1792 гг. (начало и второй этап Французской революции), а также 1807 г. («Обращение к немецкой нации» Фихте). Этот ранний идеологический этап был пропитан неоклассицизмом, сознательным возвратом в литературе, политике и искусстве к классической древности и, прежде всего, к патриотизму и солидарности Спарты, Афин и республиканского Рима. ...Довольно быстро ему на смену пришли более разнообразные течения, которые в своей совокупности попадали под общее определение романтизма. ... Действительно, в неоклассицизме мы можем усмотреть раннюю, преромантическую фазу: ... как для Руссо, так и для Гердера было характерно смешение восхищения классической добродетелью с любовью к природе и простой жизнью, протекающей в согласии опыта и чувства.

Национализм как идеологическое течение возник не на пустом месте. По мнению ряда ученых, его появление было подготовлено тысячелетней историей христианства, другие связывают его начало с изобретением печатного станка и в особенности с появлением газет. Представляется возможным также выявить ключевые националистические мотивы, восходящие к эпохе классического гуманизма городов Северной Италии, в особенности Флоренции XV – начала XVI вв. (от Бруно Латини до Макиавели). Безусловно, сильный и осознанно классицистский акцент на гражданской добродетели и солидарности стал важным компонентом позднего гражданского национализма. ... Это в свою очередь приблизило появление греческой и римской моделей ... патриотизма *полиса* с его идеологическим противопоставлением греческих свобод варварскому рабству. Вероятно, еще более значимым было наследие Древнего Израиля, развитое пуританами вслед Реформации. Параллели, которые они проводили между избранничеством и преследованием сынов Израилевых и своей собственной участью, их ветхозаветная интерпретация собственных страданий от рук враждебных им государственных властей придали сильный импульс росту национального чувства среди средних слоев английского и голландского общества в XVI – XVII вв. По этим идеологическим каналам в современный национализм перешла доктрина этнической избранности, которая, по всей вероятности восходя к древним евреям, получила широкое распространение на Ближнем Востоке, в Европе и Восточной Африке; кроме то

го, аналоги этого чувства можно обнаружить и в таких удаленных частях света, как Япония.

События в социальной и политической сферах, имевшие место в этот период, все более способствовали подъему наций, национальных государств и национализма. ... Новое явление XVIII в. – широкомасштабное отчуждение интеллектуалов от общества и политики, ... что было следствием разочарования как в гражданской жизни, так и в политике абсолютизма. (...)

(...) Неудача с воссоединением Европы по образцу Римской империи и усиление соперничавших между собой абсолютистских государств указывают на то, что территориальная и экономическая основа национальных государств была хорошо подготовлена еще в конце XV в., если не раньше. (...) Торговая конкуренция и войны, ... равно как и возникшие позднее абсолютистские режимы Пруссии, Австрии и России привели к усилению связей между городским капитализмом и монархиями и подтолкнули монархов к тому, чтобы мобилизовать и стандартизировать подвластные им народы при помощи религии, образования и даже языка. Верность государю все чаще ассоциировалась с патриотизмом, чувством самоотождествления с определенной страной, ее территорией и народом. (...)

### ***Разновидности национализма***

Во времена Американской и Французской революций эти различные социальные, политические и интеллектуальные процессы нашли свое воплощение в радикальной политике. Причины возникновения революционных движений в Америке и Европе было множество, однако эмоционально и интеллектуально они все сильнее пронизывались националистическим началом, следствием чего явилась радикальная трансформация абсолютизма в массовое национальное государство. (...)

Период роялистской реакции (1815–1848 гг.) более четко обозначил этнический характер ряда таких национальных движений, а также выявил то, что Ганс Кohn [Kohn] определил как органичные “восточные” формы национализма в качестве противоположных его “западным” разновидностям – гражданским и более рационалистическим, типичным для Франции, Соединенных Штатов и Англии (исключая, однако, Ирландию). Вероятно, наиболее ярким, хотя и безусловно не однозначным примером может служить Греция, (...) где имело место одновременно “рационалистическое” и “прозападное” движение купцов и интеллигенции за возрожденную Элладу ... и ностальгия духовенства и крестьянских общин по этно-религиозному возрождению православной Византийской империи с центром в Константинополе. (...)

Все это были движения интеллигенции и оппозиционных групп, призывавших к ... мобилизации “народа” против различных зол – самодержавия, бюрократии, капитализма и западничества. Однако в силу хамелеон

ского характера национализма его могли ставить себе на службу и сторонники самодержавия, и бюрократы, и капиталисты. (...)

В Японии (...) в результате Реставрации 1868 г. произошла институционализация современного бюрократического государства под эгидой возрожденной императорской власти. Реформаторы быстро поняли важность массового общественного образования как ключа к формированию гражданского национализма по французской модели и затем перешли к тому, что начали прививать добродетели специфически японской культуры в комплексе с западными искусствами и технологией. (...) На Западе также имел место непринужденный переход государственного национализма в империализм и колониализм. (...)

Государственные национализмы не сводились к “официальным” имперским идеологиям. Они были также характерны и для “антиколониальных” движений XX в., ставивших своей целью изгнание имперских чиновников и создание новых государств на территориях бывших колоний. (...)

По мнению некоторых историков и политологов, в середине XX в. национализм достиг своего апогея с привнесением в него расизма. Сторонники данной точки зрения усматривают в [итальянском] фашизме и особенно в [германском] нацизме логическую кульминацию националистических идей и практик. (...) По мнению других ученых, фашизм и нацизм явились продуктами специфического этапа современной европейской истории: они представляли собой тоталитарные движения, связанные с особым периодом индустриализации и демократизации. (...)

На более общем уровне в начале XX в. для многих стала очевидной тесная связь между национализмом и войной, ...которая в достаточной степени подчеркивалась его центральной ролью в двух мировых войнах. (...)

### ***Возрождение национализма***

Казалось бы, ужасов нацизма и мировых войн было достаточно для того, чтобы ассоциирующиеся с дискредитировавшими себя расистскими идеями этнические связи и национальные идеи потеряли свою актуальность. Неожиданно для многих в 1940–1950 гг., в начале расцвета антиколониальных движений в Африке и Азии и движения чернокожих в Америке богатые, стабильные, демократические западные государства вступили в период, который можно было бы назвать чем-то вроде “этнического возрождения”. (...)

(...) Хотя этнические национализмы возможно и не были причиной распада Югославии и Советской империи, народы, объединившиеся по принципу национальной принадлежности, безусловно, стали их наследниками. (...)

Возможно ли прогнозировать ослабление национализма, или даже его полное исчезновение? По мнению некоторых ученых, налицо признаки то

го, что мы стоим на пороге “постнациональной” эры, в которой доминирующими окажутся глобализирующие силы международного разделения труда, транснациональные компании, крупные силовые блоки, идеология массового потребления и рост разветвленных коммуникационных сетей. Перед лицом этих мощных “исторических тенденций” этнические конфликты и национализм отходят на второй план. ...В качестве опровержения данной гипотезы можно сослаться на увеличение числа и интенсивности межнациональных конфликтов. ...По-прежнему сильным остается влияние националистических идей, которые могут использоваться (и используются к каждой конкретной ситуации) большим числом политически непризнанных или неудовлетворенных этнических сообществ с использованием новых каналов массовой коммуникации и тех возможностей, которые могут предоставить массовой националистической легитимизации затяжные межгосударственные конфликты.

Все эти проблемы отражены в дискуссиях по вопросам этнической иммиграции в государства Запада. ...Включение вопроса об объединении Европы в политическую повестку дня привело только к еще большему обострению проблемы национальной идентичности...

*Бэлл Хукс*<sup>1</sup>

## **Революция ценностей: обещание мультикультурных перемен<sup>2</sup>**

[Эссе начинается с воспоминания автора об учебе в школе в 1960-е гг., в период обострения борьбы за права темнокожих. Тогда она была молодой темнокожей женщиной, каждодневно сталкивавшейся с патриархатом и расизмом, их приятием со стороны бесхребетных белых либералов. Сегодня она уже является преподавателем, автором работ по исследованию поведения в ситуации культурного разнообразия. Исследуемая ею ситуация характеризуется не только наличием известного равенства в условиях культурных различий. Мы продолжаем наблюдать не только плюрализм, но и эксплуатацию и конфликт].

Два года назад я была на встрече, посвященной двадцатой годовщине моего школьного выпуска. На этот раз встреча должна быть особенной —

---

<sup>1</sup> Автор намеренно использует только строчные буквы в написании своего имени. — *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Реферативное изложение Ж.Кузнецовой по: Hooks, B. ‘A Revolution of Values. The Promise of Multicultural Change’, in Daring, S. (ed.) *The Cultural Studies Reader*, second ed. 1993, pp. 233–239.

до сих пор все встречи проходили отдельно: белые и черные отмечали это событие порознь в разных частях города. Никто из нас не был уверен, что встреча удастся. Считая себя “артистами”, мы верили, что нам предстояло построить некую культуру вне рамок закона, где мы жили бы свободными. За день до встречи я поняла, что наши жесты неповиновения не были столь смелы: они были актами сопротивления, на деле не бросающими вызов существующему порядку вещей.

Один из моих друзей юности был белым. У него тогда был старый серый «Вольво», на котором он подвозил меня домой, когда я опаздывала на автобус. Это вызывало гнев и беспокойство окружающих. Однако родители Кена были религиозны, и их вера предполагала веру в расовую справедливость. Они были первыми среди белых, кто пригласил черных к себе в гости, кто ел вместе с ними за одним столом. Я чувствовала тогда себя так, будто мы творим историю, осуществляя мечту о демократии.

Вспоминая прошлое, я более всего поражена страстностью нашей веры в социальную трансформацию, в радикальную демократическую идею свободы и справедливости для всех. Тогда еще не было тщательно разработанной постмодерной политической теории, учитывающей форму наших действий. Мы просто пытались изменить наше существование, и наши ценности и привычки были отражением наших представлений о свободе. Наши основные интересы в то время сводились к проблемам расизма. Сегодня, наблюдая усиление белого расового превосходства, рост социального и расового апартеида, который разделяет белых и черных, имущих и неимущих, мужчин и женщин, я ставлю рядом борьбу за конец расизма со сражением за конец сексизма и классовой эксплуатации. Зная, что мы живем в условиях культуры господства, я спрашиваю себя, способна ли я на большее, чем двадцать лет назад, какие ценности отразили мое стремление к свободе? В последние годы я сталкиваюсь с множеством людей, заявляющих, что они борются за свободу и справедливость для всех, хотя способ их жизни, институционализированные ценности, их участие в публичных и личных ритуалах закрепляют культуру господства и помогают строить несвободный мир.

В своей книге «Куда мы пойдём отсюда: хаос или сообщество?» Мартин Лютер Кинг, обращаясь к своим согражданам, предрекал, что общество не будет идти вперед, радикально не пересмотрев господствующие в современном обществе ценности вещизма, стремление к наживе, расизм, милитаризм и т.д. И сегодня все еще сильны системы господства – расизм, сексизм, классовая эксплуатация и империализм. Они содействуют превратному видению свободы как синонима материализма. Они учат нас вере в то, что господство естественно, что оно необходимо, чтобы управлять слабыми. Кинг учил нас пониманию того, что если мы хотим мира на земле, то мы должны быть выше расовых, племенных, классовых и национальных разграничений. Еще до того, как слово “мультикультурализм”

стало популярным, Кинг призывал нас “развивать мировую перспективу”. Однако сегодня мы наблюдаем возврат к узкому национализму, изоляционизму и ксенофобии. Конечно, это можно как-то объяснить неоконсервативными попытками привнесения порядка в хаос, вернуться в идеализированное прошлое. Понятие семьи в дискуссии о мультикультурализме играет сексистскую роль – семья призвана поддерживать стабильность традиций. Это видение семьи тесно связано с представлениями о большей безопасности, когда мы находимся в своей группе, среди представителей своей расы, класса, религии. Существуют консервативные мифы, что насилие по отношению к членам какой-либо группы совершается чужаками. Патриархальная семья, таким образом, представляется в качестве некоего “островка безопасности”. Однако статистика свидетельствует о противном: люди чаще виктимизируются именно себе подобными.

Одна из лживых идей многих белых (да и черных) состоит в том, что расизма больше не существует, и гарантированное социальное равенство предоставляет возможность любому усердно работающему черному достичь экономической самодостаточности. Однако не следует забывать и о реалиях капитализма, фактически требующего существования андеркласса. Средства массовой информации также создали миф о том, что феминистское движение полностью изменило общество, полностью изменив политику патриархальной власти, и что мужчины стали жертвами доминирования женщин. Бытует широко поддерживаемое мнение, что черные, этнические меньшинства и белые женщины отнимают работу у белых мужчин. К тому же говорится о том, что бедняки и безработные сами выбирают свою судьбу. Все это можно объяснить недостатком доступа к информации, необходимой для эффективной коммуникации между людьми.

Критически анализируя традиционную роль университетов в преследовании истины и сокрытии знаний и информации, следует указать на их поддержку властного превосходства белых, империализма, сексизма и расизма, на насыщенность учебного процесса предрассудками. Призыв к культурному разнообразию, к переосмыслению путей познания, к деконструкции старой эпистемологии должны, прежде всего, изменить реальность университетской системы.

Я была поражена, когда все как один стали говорить о культурном разнообразии. Тех из нас, кто был на краю общества (цветные, выходцы из низов рабочего класса, геи, лесбиянки и т.п.), кто всегда чувствовал двусмысленность своего пребывания в рамках институтов знания, пользовавшихся терминологией колониализма и господства, волновало то, что новое видение справедливости и демократии, составляющих сердцевину гражданского движения, должно было быть реализовано в учебных заведениях. В конце концов, именно здесь есть возможность развития “обучаемого” сообщества, именно здесь разнообразие должно быть признано, и именно

здесь мы все должны окончательно понять, признать и подтвердить, что наш способ познания погряз в пережитках истории и во властных отношениях.

Многие коллеги не участвовали в этих изменениях, опасаясь, что развитие культурного разнообразия преуменьшит значение их знаний и умений, приведет к потере их авторитета. Действительно, попытки подвергнуть сомнению некоторые общепринятые устои могут вызвать хаос и беспорядок. Тем, кто признавал идею разнообразия, было тяжело признать и необходимость перемен во взаимоотношениях между студентами. На их глазах происходило то, что не соответствовало комфортной идее о культурном разнообразии как о «плавильном котле».

Критикуя это, Питер Макларен в своей статье «Критический мультикультурализм и демократическое учение» утверждает следующее: «Идея о том, что разнообразие конституирует себя как некий гармоничный ... ансамбль культурных сфер есть консервативная и либеральная модель мультикультурализма, которая должна быть отвергнута. Когда мы представляем культуру как непоколебимое пространство гармонии и согласия, где социальные отношения устойчиво существуют в рамках определенных культурных форм, то мы забываем, что все знания фабрикуются в поле социального антагонизма»<sup>1</sup>.

Некоторые считают, что все, кто поддерживает культурное разнообразие, хотят заменить одну диктатуру в области познания другой, введя иную форму мышления. Это неверное понимание. Замена одного содержания на другое внутри одной формы не может привести к конструктивной трансформации учебных заведений, академии. Во всех культурных революциях есть моменты, когда совершаются ошибки. Если мы боимся ошибок, мы никогда не получим «новой академии», где есть место культурному разнообразию, где учеба и учебные программы учитывают каждую сторону культурных различий. Да, нельзя подвергать опасности открытый климат учебных заведений во имя создания культурного разнообразия. Но мы и не должны бояться принять бой, не должны бояться жертвовать собой. Мы должны перенять опыт у других движений за социальное изменение. Мартин Лютер Кинг приветствовал необходимость разногласий, вызова и изменений, говоря: «Не соглашайся с этим миром, но будь готов изменить его в своем сознании». Для всех нас как в рамках академии, так и в культуре в целом, значимы призывы изменить наше сознание в стремлении к справедливости и из любви к свободе.

---

<sup>1</sup> Цит. по: *International Journal of Educational Reform* (автор не приводит полных библиографических данных). – Ж.К.

*Марк Постер*

## **Кибердемократия: Интернет и публичная сфера<sup>1</sup>**

*Я – реклама версии себя.  
(Дэвид Берн)*

### ***Децентрализованная технология***

Особенности постмодерной ситуации в политике легче поддаются объяснению, если обратиться к старой проблеме технологического детерминизма. В этой связи примечательна роль Интернета, который, являясь прежде всего в корне децентрализованной системой коммуникации, действуя как сеть сетей, подрывает наши представления о характере политики и о роли технологии в целом. Появлению на свет этой уникальной структуры способствовало слияние интересов социокультурных агентов, имеющих между собой так мало общего: министерства обороны США периода холодной войны, целью которого было обеспечение выживания в результате ядерной атаки путем децентрализации военного управления, этоса сообщества инженеров-компьютерщиков, не приемлющих любые формы цензуры, и университетских исследовательских практик. Если информация в “сети” неограниченно воспроизводится, немедленно распространяется и радикально децентрализуется, то как это может повлиять на общество, культуру и политические институты?

Существует только один ответ на данный вопрос и он заключается в том, что сама его постановка неверна. В общем смысле технологическая сторона жизни общества определяется как конфигурация одних материалов, воздействующих на другие материалы. При этом технология оказывается чем-то внешним по отношению к человеку, а роль человека заключается в том, чтобы манипулировать материалами, исходя из своих собственных предзаданных и субъективных целей. Однако Интернет устанавливает новый режим отношений между человеческим и вещным миром, а также между материальным и нематериальным, перестраивая отношение технологии и культуры. “Сеть” влияет на дематериализацию коммуникации и, что важно, трансформирует субъективную позицию индивидов, вовлеченных в нее.

Сводить Интернет лишь к эффективному “инструменту” коммуникации ошибочно. “Сеть” порождает новые формы взаимодействия людей, в результате чего возникают и новые проблемы относительно распределения

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение А.Яцык по: Poster, M. ‘CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere’, in Hartley, J., Pearson, R.E. (eds.) *American Cultural Studies: A Reader*, Oxford University Press, 2000, pp. 402–413.



власти между ее участниками. А это в свою очередь приводит к переосмыслению понятий публичной сферы и демократии.

Если Интернет представляет собой некую публичную сферу, то кто и как взаимодействует в ней? Какой предстает политика в этом пространстве, в отсутствие взаимодействия “лицом к лицу”? Вообще, насколько применим в данном случае термин “сообщество” и что есть феномен кибердемократии?

### ***Интернет как публичная сфера?***

В прошлом агора, деревенская церковь, таверна, публичная площадь и даже угол улицы выступали публичными аренами, местами, где разворачивались политические дискуссии и действия.

Медиа, и особенно телевидение, подчинили себе старые пространства политики. Они не только “опосредовали” прошлое взаимодействие “лицом к лицу”, но и выступили в качестве самостоятельного публичного образования: «Телевидение, популярные газеты, журналы и фотографии... есть публичные сферы, места, где публичное создается и существует»<sup>1</sup>. При этом по мере замены знаковой дискурсивности имиджем “публичное” все больше превращается в “паблисити” [рекламу – прим. ред.]<sup>2</sup>.

Юрген Хабермас по-своему отслеживает эти трансформации: по его мнению, индивиды в рамках публичной сферы путем выдвижения рациональных аргументов и опровержений приходят к определенному прагматическому согласию, к победе критического разума над инструментальным, что должно рассматриваться как важнейшее достижение демократии. Позднее эта идея была подвергнута критике со стороны постструктуралистов, в частности Лиотара, не верившего в идеал рационального субъекта как основы демократии. В свою очередь феминисты указывали на “гердерную слепоту” хабермасовского анализа.

Свое завершение понятие публичной сферы получило в работе Риты Фельски, объединившей феминистские и постструктуралистские подходы к критике автономного субъекта<sup>3</sup>. С ее точки зрения, публичная сфера строится на “опыте политического протеста” (О.Негт и А.Клюге<sup>4</sup>), а также отражает множественность субъектов (постструктурализм) и гендерные различия (феминизм). Хотя Фельски критически пересмотрела хабермасовское понятие публичной сферы, лишив его всяческих буржуазных, ло

---

<sup>1</sup> Hartley, J. *The Politics of Pictures: The Creation of the Public in the Age of Popular Media*, New York: Routledge, 1992, p. 1

<sup>2</sup> Virilio, P. *The Vision Machine*, trans. Julie Rose, Bloomington: Indiana University Press, 1994, p. 64

<sup>3</sup> См.: Felski, R. *Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

<sup>4</sup> См.: Negt, O. Kluge, A. *Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

гоцентристских и патриархальных коннотаций, она осталась в рамках “старой” традиции разделения “публичного” и “частного”, сводя “политическое” именно к “публичному”. Но подобная модель не работает в отношении Интернета.

Джудит Перрол обращается к концепции Ю.Хабермаса в рамках анализа разговоров на так называемых “досках объявлений” и находит, что в данном случае отсутствует “идеальная речевая ситуация”. Она утверждает, что “разговоры в сети” искажены на уровне машинного контроля, когда «...осмысленность, истина, искренность и уместность... проявляются как физические или логические характеристики машины, ...а не как результат человеческих отношений»<sup>1</sup>. Основные условия речи конфигурируются в программе виртуального сообщества и остаются незатронутыми самой дискуссией. Перрол утверждает, что «...дизайн большинства компьютерных интерфейсов не приспособлен для проверки верности данных, или же он разработан так, что факты могут быть подменены в зависимости от степени мастерства пользователя»<sup>2</sup>.

Если сегодня машины способны на создание новых форм децентрализованного диалога, различных комбинаций взаимодействия “человек-машина” и на поддержку новых политических образований, то каковы условия развития демократического общения в новой информационной среде? Что сегодня следует понимать под публичным, если публичные имиджи (в режиме реального времени) оказываются более важными, чем само публичное пространство<sup>3</sup>?

Если технологическое обновление медиа рассматривать как угрозу демократии, то возникает вопрос, каким образом должна относиться к этому теория медиа; это, в свою очередь, связано с проблемами децентрализации демократического дискурса с помощью новых информационных технологий и угрозой стабильности государства (с точки зрения утраты последним контроля над приватно-публичной информацией), с подрывом основ частной собственности (из-за неограниченного воспроизводства информации) и пренебрежением правилами общественной морали (в случае с распространением порнографии).

### ***Постмодерная технология?***

Многие области Интернета расширяют границы заданных идентичностей и институтов. В сетевых новостных группах есть место новым шалостям подростков, базы данных позволяют исследователям и корпорациям получать информацию по низким ценам, электронная почта удобна своей

---

<sup>1</sup> Perrolle, J. ‘Conversations and Trust in Computer Interfaces’, in Dunlop, C., Klind, R. (eds.) *Computerization and Controversy*, New York: Academic Press, 1991, p. 351

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 354

<sup>3</sup> Virilio, P. ‘The Third Interval: A Critical Transition’, in Conley, V. (ed.) *The Thinking Technologies*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, p. 9

скоростью и надежностью, переводение образов в цифровые форматы позволяет широко распространять эротические материалы и т.п. Таким образом, восприятие Интернета как эффективного инструмента вполне укладывается в современные представления. Однако отношение к нему в рамках современной теории не столь просто, будучи связано с новым пониманием технологии и, в конечном счете, – с переосмыслением политического аспекта Интернета. При этом в первую очередь имеются в виду так называемые “виртуальные сообщества”, а также синтез технологий виртуальной реальности и Интернета. В этих случаях упор делается на процесс конструирования идентичности через коммуникативные практики. Осуществляя обмен электронными сообщениями, индивиды как бы изобретают себя. Представление себя в коммуникации требует лингвистического акта самопозиционирования, который менее выражен в случае с чтением романа или просмотром телевизионной рекламы. Посредством Интернета индивиды интерпретируют сообщения от себя и к себе, таким образом формируя и передавая различные смыслы. Не стоит, однако, впадать в иллюзию становления некой универсальной, “активной” речи, поскольку она возможна на основе идентичности как некой фиксированной досоциальной и долингвистической сущности, в то время как Интернет-дискурс предполагает не идентичности, а субъективные режимы конкретного человека. В Интернете индивиды конструируют свои идентичности в режиме непосредственно происходящего диалога, а не в акте чистого сознания. Такая деятельность не может считаться свободой в либерально-марксистском смысле, потому что она не обращает нас к основам субъектности. В целом дискурс Интернета не ограничен конкретной адресностью, гендером или этничностью, что характерно для коммуникации лицом к лицу. Магия Интернета заключается в том, что эта технология полагает возможными культурные действия, символизацию во всех формах и всеми участниками; она радикально децентрализует позиции речи, печати, производства фильмов, теле- и радиовещания, то есть меняет природу культурного производства.

### ***Гендер и виртуальные сообщества***

Одной из характерных особенностей “сети” является уникальная возможность самопрезентации индивида, конструирование собственной идентичности. В отличие от “реальной жизни”, где идентичность задана рождением или статусом, процесс ее конструирования в виртуальной реальности возможен самим субъектом, что происходит в рамках лингвистической коммуникации.

Наиболее ярко этот тезис характеризует случай “гендера” в Интернете. Идентичность в виртуальном сообществе должна быть представлена как минимум именем и полом. И если в “реальной жизни” основной характеристикой идентичности также является этничность, то в Интернет-сообществах главенствующая роль отводится гендеру. Гендерное тело во

площадью с помощью гендерного текста, им же и ограничиваясь (хотя, конечно, существуют эмодзи или “смайлики”, призванные изображать эмоции – ☺). Исследования разговоров на “досках объявлений” показали, что отсутствие телесного компонента в гендере не исключает стратегий сексизма или даже определенной гендерной иерархизации. Недостатки женского бытия в “реальной жизни” переносятся и в виртуальную среду: женщины подавляются также и в электронном пространстве, подвергаясь различным формам сексуального унижения и оскорбления. Но фактом остается и то, что гендерные проблемы реальной жизни получают новое наполнение в киберпространстве.

В этой связи интересен случай “Джоан”. Мужчина по имени Алекс представлялся на “досках объявлений” женщиной-инвалидом Джоан. Он “забрел” в виртуальное сообщество, потому что хотел поболтать с женщинами как женщина, но не мог сделать этого в реальной жизни, будучи ограничен маскулинной идентичностью. Когда его “хитрость” была раскрыта, многие женщины, общавшиеся с ним, испытали глубокое разочарование. Они были обижены этим подлогом, в то же время сожалея о “смерти” виртуальной подруги. Такое уникальное использование коммуникации нелегко найти в реальной жизни, жестко сексистски структурированной и иерархизированной. В некоторых аспектах Интернет все же не разрушает существующую гендерную систему: например, при электронной переписке, когда оба индивида знают друг друга (хотя и здесь можно найти некоторые отличия в самопрезентации, протекающей более спонтанно и менее сдержанно).

В Интернете мы обнаруживаем целый спектр возможностей современного конструирования идентичности. Существует фиксированная идентичность (в электронной почте), есть “изобретаемая” идентичность (в случае с простыми диалогами в Internet Relay Chat), наконец, можно говорить об идентичности изобретаемой и предметно-ориентированной в рамках виртуальных сообществ на основе “пространств для множественных пользователей” (типа MUD – Multi-User Dimensions). Последние представляют собой сообщества сетевых игроков, как регулярных так и нерегулярных, которые уже проявляют определенные признаки иерархизации. “Регулярные”, “квалифицированные” члены при этом отделяются от “гостей”, которые в результате обладания “временным” статусом получают меньше привилегий в управлении командами и т.д. Таким образом, в киберпространстве также существует асимметрия, которую можно назвать “политическим неравенством”, однако она в гораздо меньшей степени подвержена дискриминации по расе, возрасту, статусу и гендеру, нежели в “реальном” мире.

В некотором роде Интернет можно сравнить с хабермасовской публичной сферой. Здесь не выдвигаются претензии на истинность и на существование критического разума, однако при этом происходит рождение но

вых неких самоорганизующихся форм, новых публичных арен. С развитием видео- и аудио-поддержки систем общения, в основном пока строящихся на тексте, такая виртуальная реальность может еще серьезнее заявить о себе, а жалобы на то, что “электронные деревни” суть не более, чем эскапизм белых недообразованных мужчин, уже не будут казаться убедительными.

### ***Киборг-политика***

На примере деконструкции гендера в Интернет-сообществах можно судить о том, насколько серьезными могут быть последствия теории политики относительно типов функционирования информации. Интернет, “окутанный” “оцифрованным” языком, опосредованный машинными обозначениями “пространства без тел”, предлагает политической теории беспрецедентный предмет исследования. Как отразится опыт самоорганизации виртуальных сообществ на традиционной политической арене? Каким образом властные отношения в Интернете сочетаются с таковыми в пределах других систем коммуникации и влияют на них? Каково место кибердемократии в современной политике и возможности постмодерной политики, если предположить что правительство США и корпорации не станут формировать сетевое пространство по своему образу и подобию?

Изменчивый, гибкий статус индивида в Интернете ведет к переменам в природе политического авторитета. В эпоху Средневековья авторитет был наследственным, в эпоху модерна – основанным на народном мандате на основе голосования. И то, и другое сопровождалось определенной аурой, что становится проблематичным в эпоху Интернета. Термин “демократия” говорит о суверенитете телесно воплощенных индивидов, определяющих, кто должен ими руководить. В нынешней же ситуации вероятно потребуются некий новый термин, указывающий на новые отношения между лидерами и ведомыми в условиях киберпространства и на основе мобильной идентичности.

*Крис Баркер*

## **Глобализация и культурная идентичность<sup>1</sup>**

### ***Понятие глобализации***

Согласно Робертсону<sup>2</sup>, под глобализацией прежде всего понимаются две вещи: пространственно-временное сжатие мира и ощущение последнего в качестве единого целого. Термином “пространственно-временное сжа

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение М.Руденко по: Barker, C. *Television, Globalization and Cultural Identities*, Open University Press, 1999, pp. 34–43.

<sup>2</sup> См.: Robertson, R. *Globalization*, Newbury Park, CA and London: Sage, 1992.

тие” описываются процессы, в результате которых меняются как сами качественные характеристики пространства и времени, так и наши представления о них. Под сжатием понимаются прежде всего ускорение темпа жизни и преодоление пространственных ограничений (традиционно связываемых с историей и распространением капитализма) в терминах институтов модерна (в частности, институтов телевидения), т.е. глобализации современных экономических и культурных практик.

Гидденс<sup>1</sup> выделяет следующие институты модерна как исторического периода, следующего за Средневековьем: капитализм, индустриализм, всеподнадзорность, нация-государство и военная сила. Соответственно глобализация рассматривается им в терминах мировой капиталистической экономики, нации-государства, мирового военного порядка, глобальной информационной системы. При таком подходе модерн предстает в качестве “пост-традиционного” социального порядка, устройства, характерными отличительными особенностями которого являются изменение, инновация и динамизм. Институты модерна претерпевают процесс глобализации, так как допускают возможность *пространственно-временной дистанциации, разукоренения* (disembedding) социальных отношений, сложившихся в рамках одной местности, и их последующего перенесения в другие территориальные контексты. Несмотря на то, что структурирование моделей пространственно-временных разграничений (процессов, посредством которых общества “простираются” на соответствующей протяженности пространственно-временные периоды) зависит от действия целого ряда факторов, Гидденс концентрирует свое внимание прежде всего на коммодификации<sup>2</sup> времени, в результате которой оно отделяется от “опыта”, а также на развитии различных форм коммуникации и контроля над информацией, позволяющих отделять существование во времени от существования в пространстве, – ситуации снятия пространственно-временных ограничений, при которой все происходящее в любой точке земного шара в той или иной степени зависит от действия достаточно удаленных социальных факторов. Примером такого влияния может служить современный уровень развития денежной системы и электронных коммуникаций, позволяющий совершать финансовые операции 24 часа в сутки по всему миру.

### ***Глобальная экономическая деятельность***

О глобализации экономической деятельности свидетельствует прежде всего тот факт, что сравнительно небольшое число транснациональных корпораций (порядка ста) занимают главенствующее положение в глобальных сетях производства и потребления, по разным оценкам производя

---

<sup>1</sup> См.: Giddens, A. *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press, 1990; *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Cambridge: Polity Press, 1991.

<sup>2</sup> Обретения временем товарной формы. – М.Р.

от одной трети до половины валового мирового продукта. К 1990-м гг. доля зарубежных активов ТНК достигла 49%, а доля зарубежных продаж – 61%.

Несмотря на то, что о глобализации экономической деятельности можно говорить уже начиная с XVI в. – времени распространения экономической деятельности Запада на страны Азии, Южной Америки и Африки, сегодня многие эксперты сходятся во мнении о том, что мир вступает в новую фазу – *ускоренной* глобализации, для которой характерны быстрый рост объемов производства и потребления, чему во многом способствовало развитие информационных и коммуникационных технологий. На сегодняшний день можно говорить об эффективной *деконцентрации* капитала посредством *глобализации* производства, финансирования и распределения, т.е. об образовании системы геопланетарного капитализма, неподконтрольной ни одному государству в отдельности.

### ***Глобализация и модерн***

Э.Гидденс сравнивает современность (модерн) с неподконтрольной человеку машиной чудовищной силы, сметающей все на своем пути. Однако данная точка зрения применительно к глобализации была подвергнута критике за ее ярко выраженный европоцентризм и заикленность исключительно на западном типе модернизации. Согласно Фезерстоуну<sup>1</sup>, модерн следует рассматривать не только во времени, но и в пространстве, т.е. с учетом того, что разные части земного шара модернизировались по-разному и, следовательно, следует говорить не о модернизации, а о модернизациях – во множественном числе, как, например, в случае с Японией, развитие которой противоречит представлениям о линейности развития по вектору традиция–современность–постсовременность.

### ***Глобализация и культуры***

Глобализация затрагивает не только экономику, но и культуру, что ведет к развитию глобального сознания. Люди оказываются все больше вовлечены в различного рода отношения, выходящие за рамки территории их постоянного проживания. И хотя говорить о существовании единой мировой культуры как неотъемлемой части мирового государства представляется преждевременным, налицо наличие глобальных культурных процессов – как интеграционных, так и дезинтеграционных, происходящих независимо от состояния отношений между государствами. В этой связи уместно задаться вопросом о том, какая культура рождается в результате глобализации. По мнению одних, следует говорить о доминирующем влиянии Запада или о гомогенизации культуры по западному образцу в общемировом масштабе, о западном культурном империализме. Согласно другой

---

<sup>1</sup> См.: Featherstone, M. *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity*, Newbury Park, CA and London: Sage, 1995.

точке зрения, картина мира в результате глобализации более непредсказуема, хаотична и фрагментирована.

### ***Критика понимания глобализации как культурного империализма***

Критиками концепции глобализации как культурного империализма ставится под сомнение утверждение об однонаправленности глобальных потоков культурного дискурса – “с Запада на весь остальной мир”. Кроме того, считают они, даже с учетом всей значимости влияния запада на восток и севера на юг, данные процессы вовсе не обязательно должны рассматриваться в терминах господства-подчинения. Наконец, глобализация не сводится к гомогенизации – по причине наличия тенденций к фрагментации и гибридизации.

### ***Неравномерность глобализации***

Согласно Аппадурай, модели объяснения мирового развития, основанные на принципе “центр-периферия”, не выдерживают критики: «...корейцев больше беспокоит не американизация, а японизация, жителей Шри Ланки – индиизация, камбоджийцев – вьетнамизация, армян и прибалтов – русификация»<sup>1</sup>. Современная ситуация глобализации складывается из разнонаправленных этнических, технических, финансовых, медиа и идеологических потоков.

### ***Культура хаоса***

Сама идея о том, что институциональные и экономические аспекты модерна определяют сферы культурного и этнического, ныне ставится под сомнение. Сегодня культура во многом не только определяет экономическое развитие, но и играет важную роль в складывании моделей глобализации; неопределенность, случайность и “хаос” приходят на смену порядку, стабильности и систематичности. Налицо действие механизмов фрагментации, гетерогенизации и гибридизации. Как отмечает Робертсон, «это не просто вопрос гомогенизации *или* гетерогенизации, скорее, это вопрос сочетания этих двух тенденций – неотъемлемых составляющих жизни человечества в конце XX столетия»<sup>2</sup>.

### ***Глобальное и локальное***

Понятия глобального и локального относительно. Идея локального, в особенности того, что считается локальным, формируется в рамках и по

---

<sup>1</sup> Appadurai, A. ‘Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy’, in Williams, P., Chrisman, L. (eds.) *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, London: Harvester Wheatsheaf, 1993, p. 32

<sup>2</sup> Robertson, R. ‘Globalization: Time–Space and Homogeneity–Heterogeneity’, in Featherstone, M., Lash, S. and Robertson, R. (eds.) *Global Modernities*, Newbury Park, CA and London: Sage, 1995, p. 27



средством глобализующего дискурса – капиталистического маркетинга с его все более ярко выраженной ориентацией на дифференцированные местные рынки. Для описания ситуации глобального производства локального и локализации глобального Робертсоном был предложен термин “глокализация”, взятый им, опять-таки, из терминологического аппарата маркетинга.

*Майкл Риэл*

## **Культурная теория и ее отношение к зрелищам популярной культуры и медиа<sup>1</sup>**

В самом начале своей статьи М.Риэл дает такую беглую характеристику популярной культуры: «Популярная культура – это повсеместное проявление широко распространенных репрезентативных практик современной жизни» (с. 167). Основные задачи предлагаемого автором анализа развития теории культуры связаны с тем, насколько далекими друг от друга по их отношению к реальным культурным практикам являются общая культурная теория и теория популярной культуры. Первая как правило объясняет проявления популярной культуры действием “коммерческих сил” или уравнивает в статусе популярного как небольшое художественное течение, так и массовую вовлеченность аудиторий в “медиа-спорт”. Вторая же часто увлекается анализом “квази-литературных нарративов” в случае, например, с бейсболом, или интертекстуальностью хип-хопа.

### ***Определение культуры и дестабилизация “предпочтительных допущений”<sup>2</sup>***

За последние полтора столетия происходило ускоренное развитие популярной культуры, и теория популярной культуры пыталась как-то за этим следовать. При этом в ее становлении отнюдь не наблюдается характерная для других теорий кумулятивность, то есть постепенное наращивание объяснительного потенциала. Напротив, эта теория всячески стремилась к опровержению существующих “предпочтительных допущений”, под которыми Риэл имеет в виду стремление к рациональному объяснению любых культурных проявлений. В первую очередь это касается антропологической традиции, коренящейся в тех исследованиях “дикарей”, которые

---

<sup>1</sup> Реферативное изложение С.Ерофеева по: Real, M. ‘Cultural Theory in Popular Culture and Media Spectacles’, in Lull, J. (ed.), *Culture in the Communication Age*, Routledge, 2000, pp. 167–178.

<sup>2</sup> В оригинале – “destabilizing privileged assumptions”. – С.Е.

были предприняты в XIX в., и которые внесли основополагающий вклад в понимание культуры как «системных способов конструирования реальности, осваиваемых определенным народом вследствие совместного проживания» (с. 168)<sup>1</sup>. В то же время “образованный” Запад выработал и иное понимание культуры – как практики рационального постижения всего наилучшего в мировой истории. При этом сама культура Запада представлялась как рациональная по своей природе, а другие культуры – как нерациональные. При этом антропологическая научная деятельность поддерживалась с позиций колониального владычества, а попытки заниматься тем же в отношении метрополий и их культур отнюдь не приветствовались.

Такой «имперский конфликт определений» привел к середине XX в. к вычленению четырех «уровней культуры»: 1) «“элитарной” культуры, то есть высокой, серьезной, производимой известными художниками в пределах осознанного эстетического контекста и суждений, соответствующих принятому набору правил, норм и классических образцов» (там же)<sup>2</sup> – таков в частности британский имперский подход; 2) культуры и искусства “фольклора” как анонимных, традиционных и племенных практик, не опосредованных и не разделяющих принципиально общину и художника – таков подход классической антропологии; 3) культуры “массовой”, основанной на массовом производстве, стандартизации, коммерции, массовых поведенческих образцах – таков подход социологической критической теории середины XX в., в частности Франкфуртской школы; 4) культуры “популярной”, понимавшейся или практически идентично массовой или же как нечто среднее между массовым с его широкой доступностью и фольклорным с его легитимностью и целостностью. Однако в последнее время под популярной культурой понимают «любые культурные выражения или продукты, широко представленные в жизни определенного народа вне зависимости от влияния на нее элитарных, фольклорных или массовых элементов» (с. 169). В частности ученые Центра исследований популярной культуры государственного университета Bowling Green в США связывают ее с «опосредованными формами коммуникации, культурными выражениями, передаваемыми с помощью технологии как в интерактивных формах, разделяемых посредством Интернета и телефона, так и через масс-медиа» (там же).

---

<sup>1</sup> Здесь автор ссылается на критику теории мифа Эрнстом Кассирером: миф и ритуал имеют “символическую” власть – так же, как и язык, религия, наука, искусство, история. Отсюда – теоретические основания для признания властной роли популярной культуры (см. Cassirer, E. *The Philosophy of Symbolic Forms*, Yale University Press, 1965). – С.Е.

<sup>2</sup> См.: Handlin, O. ‘Mass and Popular Culture’, in Jacob, N. (ed.) *Culture for Millions*, New York: Van Nostrand, 1961; Williams, R. ‘On High and Popular Culture’, in *The New Republic*, 23 November: 15; Gans, H. *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste*, New York: Basic Books, 1974.

Сегодня понятно, что определение популярного в качестве “недостойного” имеет классовую подоплеку. В Великобритании Ричард Хогарт и Раймонд Уильямс в 1950-е гг. внесли значительный вклад в разрыв с традицией Мэтью Арнольда, Томаса Элиота и классицистов. В это же время в США в исследованиях массовой коммуникации утверждалась общественная ценность и культурная власть спорта, поп-музыки, голливудской продукции, телевизионного прайм-тайм и прочих неэлитных культурных выражений. Так, Бернард Берельсон отмечал значимость нерациональных, неинформативных факторов в культуре капитализма на примере забастовки газетчиков в Нью-Йорке в 1947 г.<sup>1</sup> Посредством этого и других исследований (например, исследований мыльных опер или уличных парадов) выяснилось, что культура рационального Запада вовсе не так уж рациональна.

Дальнейшей дестабилизации исходных предпосылок теории популярной культуры способствовала деятельность Бирмингемского Центра современных культурных исследований, Стюарта Холла, Анжелы Макробби и других, показавших, что популярная культура часто выражает ценности рабочего класса и не только его – она связана также с культурными практиками маргинализованных групп, таких, как определенные слои молодежи и женщины. В итоге под влиянием исследований выражений классового, рыночного, протестного, “нелакированного” вся действительность стала восприниматься в качестве «сложной современной культуры, актуально проживаемой и выражаемой» (с. 170).

### ***Историческая конвергенция: колониальная антропология и медиа-технология***

Во-первых, колониалистская антропология, начинавшая с концептуализации культур “примитивных обществ”, и, во-вторых, интерес к новым медиа и технологиям коммуникации – это две характерные особенности западных обществ, развивавшиеся по отдельности, но “повстречавшиеся” в XX в. Это привело к возникновению нового отношения к изучению культуры, в частности проявившегося в работах Джеймса Клиффорда<sup>2</sup>. Риэл следующим образом описывает такую ситуацию: «...технологии коммуникации в сочетании с многократно увеличившимися возможностями коммерции и перемещения в пространстве делают повседневную жизнь во всех частях света многослойной, синкретически комплексной, воспринимающей культурные импульсы и компоненты из всей огромной фрагментированной разнородности репрезентаций, поведения и смыслов» (с. 170). Гетерогенность и постмодерность культурной жизни сочетаются с конвер

<sup>1</sup> См.: Berelson, B. ‘What “Missing the Newspaper” means’, in Lazarsfeld, P., Stanton, F. (eds.) *Communication Research, 1948–1949*, New York: Harper and Bros., 1949.

<sup>2</sup> См.: Clifford, J. *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

генцией антропологии и технологии, а исторически сложившиеся понятия на глазах подвергаются изменениям.

Значение и феномена, и понятия популярной культуры становится гораздо более важным, а такие явления, как музыка, кино, радио, телевидение, бульварная литература (pulp fiction), реклама, телефон, Интернет и т.д. становятся всемирной “культурной силой”, одновременно всепроникающей и противоречивой. При этом характерная эстетика популярного (предсказуемые текст и мелодия песен, эмоции героев кино и телесериалов и т.д.) затрагивает всех – как изощренных, занятых самообманом эстетов, так и профанов, казалось бы не способных на самовыражение. Популярная культура соревнуется со всем и впитывает все – и классику, и фольклор. Такова постколониальная и постмодерная ситуация, характеризующаяся отсутствием абсолютной “чистоты” какого-либо конкретного явления культуры. Это отражается в важнейших культурных ритуалах связанных с рождением, смертью, браком.

### ***Похороны Дианы и теория популярной культуры***

Похороны принцессы Дианы в 1997 г. наблюдали 1 миллиард 200 миллионов человек, и это медиа-событие стало одним из чистейших образцов популярной культуры. Церемония объединяла элитарность, всегда окружавшую английскую королевскую семью, и популярность стиля, а классическая литургия сочеталась с исполнением шлягера Элтона Джона. Это предоставило особые возможности и для пропаганды англиканской церкви, и для коммерческого успеха брата Дианы, и для паблисити наехавших знаменитостей Голливуда, мира моды и т.д. Сам масштаб события подсказывает его значимость для теоретических дискуссий. Это объединение огромных масс зрителей в одном действии, желании “хорошо проплакаться” вместе с тем, несмотря на всю его ритуальную значимость, не было похоже на то взаимодействие лицом к лицу, которое изучает традиционная антропология. Оно одновременно и сталкивало людей с реальностью смерти, вырывая их из обыденности, и способствовало тривиальному удовлетворению их вуайеристских наклонностей, желания подглядывать.

Так мифический ритуал был усложнен с помощью масс-медиа, а его власть позволила сочетать сакральное и профанное. Для коллективного сознания эти похороны означали перерыв в обычной деятельности и возможность помечтать о лучшем обществе. Ритуал в прямой трансляции позволял также «устанавливать порядок и определять роли по мере того, как он реструктурировал пространство и время, ...утверждая некие общие тенденции и ценности в нашей глобальной культуре» (с.173)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Автор ссылается на описание функций мифа в частности в трудах Э.Кассирера, М.Элиаде, Б.Малиновского, В.Тернера, а по отношению к более поздним опосредованным формам – у Дж.Кэри и др. – С.Е.

### ***Важность “популярного” и медиа-знаменитость***

Сегодня для нас популярное так же важно, как церковь для средневекового общества. Все области жизни связаны с медийной “ноосферой”<sup>1</sup>. Сегодня медиа-знаменитости играют роль святых прошлого, приобщение к которым для обычного человека означает возможность «освободиться от посясторонних горестей и, одновременно, забыть о себе, растворясь в лучах славы знаменитости» (с.173). Вместе с тем существует понимание того, что, согласно историку Даниэлю Бурстину, современная знаменитость знаменита уже тем, что она знаменита, она нуждается ни в каких личных достижениях.

Имидж Дианы представлял собой такой важный фактор рынка, что о ее смерти говорилось в новостях столько, сколько до этого говорилось только об антигорбачевском путче 1991 г. Канонизация Дианы с помощью популярной культуры по своему размаху не сравнима с тем, как это происходило в эпоху Средневековья, а темы, которые она затронула, включают также роль женщин в обществе и отношения знаменитостей с поклонниками<sup>2</sup>.

### ***Глобализация медиа-спортивной культуры***

Все это не означает, что популярные зрелища насаждают однообразную международную форму культуры, ибо остается много противоречий, различий и неограниченное число «своеобразных и необычных сочетаний элитарного и массового, старого и нового, глобального и локального, замешанного и оригинального» (с.174). Теории коллажа, вытеснения, исторической случайности, интертекстуальности, транснациональности, постколониализма и повседневности вносят поправки в антропологическую практику. Так, Клиффорд Гирц предлагает более скромное, постмодерное прочтение “других” культур, отказываясь от этнографического империализма и предлагая “текстовую” интерпретацию культуры.

Отношение к “спортивному стержню медиа” [media sport nexus] отражает согласие между собой теоретиков популярной культуры в отношении роли глобального контекста. Так, в работах Роуи, Веннера, Мартина и Миллера соединяются культурная теория и кейс-стади трансляций спортивных событий<sup>3</sup>: эти авторы утверждают, что глобальность проявляется в частности в стремлении медиа-баронов в самых разных странах скупать спортивные команды и права на трансляцию спортивных событий. Вместе с тем, появились и такие транснациональные корпорации, как империя Руперта Мердока. В принципе лишь единая теория культуры, научившаяся

---

<sup>1</sup> Термин “ноосфера” заимствован М.Ризлом у Тейяра де Шардена. – С.Е.

<sup>2</sup> См.: Sharkey, J. ‘The Diana aftermath’, in *American Journalism Review*, November: 18–25.

<sup>3</sup> См.: Rowe, D. *Sport, Culture and the Media: the Unruly Trinity*. Open University Press, 1999; Wenner, L.A. *MediaSport*, Routledge, 1998; Martin, R., Miller, T. (eds.) *SportCult*, University of Minnesota Press, 1999. – Как у Веннера, так и у Мартина и Миллера имеет место намеренно слитное написание слова “sport” со словами “media” и “cult”. – С.Е.

многому у теории популярной культуры, позволяет осуществлять логичные исследования культуры медиа-спортивной. В частности Роуи обращает внимание на универсальную политическую экономию спортивных медиа.

Антропологи XIX в. были бы поражены, узнав, насколько концепции нерациональных верований и поведения применимы сегодня к ситуации миллиардов зрителей. Однако их классические теории мифа должны также дополняться теориями медиа-текста, политической экономики и т.д.

***Как познать непознаваемое:***

***преувеличенная рационализация культуры во имя теории***

Попкульт (термин самого Ризла) настаивает на своей неразрывной связи в живом опыте, реальной практикой и продуктами, что и должна изучать общая культурная теория. Непосредственность популярной культуры не позволяет чересчур абстрактно ее теоретизировать, хотя ее важность требует всей серьезности теоретического подхода. Близость теории популярной культуры к реальности позволяет не смешивать рациональное объяснение попкульта и ее переживание. Рациональное объяснение сохраняет всю свою важность, но «истинная ценность популярной культуры, как и всей культуры состоит в ее экзистенциальном переживании и ее феноменологической роли» (с. 176). Для исследователя попкульта нет сложности с пониманием «жизни не как проблемы, которую надо разрешить, а как мистерии, которую надо прожить» (афоризм Габриэля Марселя). Нас ожидает еще много открытий в области понятий и концепций во многом благодаря взаимодействию между общей теорией культуры и теорией культуры популярной. Не следует преувеличивать значение рационального объяснения культуры путем ее сведения к единству или противоречиям разных культурных проявлений с культурой элиты, фольклором и т.д. «Популярное таково, каково оно есть, оно не переводится во что-либо иное» (там же). В этом заключается проверка состоятельности культурной теории в целом.

## РАЗДЕЛ IV

# СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

*Уильям Томас и Флориан Знанецкий*

### **Понятие социальной дезорганизации<sup>1</sup>**

*Из введения к четвертому тому (с. x–xi)*

(...) В этих условиях [самодостаточности, изолированности общности] первым результатом растущей связи между общностью и внешним миром является, естественно, более или менее продолжительный процесс дезорганизации. У членов группы развиваются новые установки, которые не могут адекватно контролироваться старой социальной организацией, поскольку не могут найти адекватного выражения в старых первично-групповых институтах. Группа пытается защитить себя от дезорганизации методами, сознательно направленными на усиление влияния традиционных правил поведения. Однако эти попытки, часто эффективные пока внешние контакты остаются ограниченными некоторой отдельной областью интересов, становятся все менее и менее действенными, когда эти контакты продолжают развиваться и постепенно распространяются на все области социальной деятельности. (...)

Эта проблема является, очевидно, единой для всех обществ в периоды быстрого изменения, как для первобытной группы, вступившей в контакт с западной цивилизацией, так и для более обширной и высокоорганизованной современной национальной группы, где быстрый рост новых установок не обуславливается более внешними влияниями, а является следствием внутренней сложности социальной деятельности. (...)

*Из главы «Понятие социальной дезорганизации» (том IV, с. 1–6)*

Понятие социальной дезорганизации в том значении, в каком мы будем его использовать, ...относится прежде всего к институтам и только затем – к индивидам. Подобно тому, как групповая организация, воплощенная в социально систематизированных схемах поведения, которые налагаются на индивидов в качестве правил, никогда точно не совпадает с жизненной организацией индивидов, воплощенной в лично систематизированных

---

<sup>1</sup> Перевод И.Ясавеева по: Thomas, W.I., Znaniecki, F. *The Polish Peasant in Europe and America*, Boston, vol. 1–5, 1918.

схемах поведения, так и социальная дезорганизация никогда в точности не соответствует индивидуальной дезорганизации. Даже если мы представим себе группу, лишенную всякой внутренней дифференциации, то есть группу, в которой каждый член принимал бы все социально санкционированные правила поведения (и ничего кроме них) в качестве схем своего собственного поведения, все же он в процессе своего существования систематизировал бы эти схемы различным образом, создавал бы различную жизненную организацию вне этих схем, поскольку ни его темперамент, ни история его жизни не были бы теми же самыми, что темпераменты и судьбы других членов. В сущности, такая однородная группа есть чистая фикция, поскольку даже в наименее дифференцированных группах мы находим социально санкционированные правила поведения, которые явно относятся лишь к определенным классам индивидов, не используются другими и используются третьими в сочетании с некоторыми личными схемами собственного изобретения. Более того, прогресс социальной дифференциации сопровождается ростом специальных институтов, деятельность которых заключается в систематической организации определенного числа социально отобранных схем для постоянного достижения определенных результатов. Институциональная организация и жизненная организация любого индивида, посредством деятельности которого институт социально реализуется, частично совпадают. Однако один индивид не может полностью реализовать в своей жизни всю систематическую организацию института: последний всегда предполагает сотрудничество многих; с другой стороны, каждый индивид имеет множество интересов, которые должны быть организованы вне этого отдельного института.

Безусловно, существует определенная взаимозависимость между социальной организацией и индивидуальной жизненной организацией. Социальная организация оказывает влияние на индивида; в свою очередь, жизненная организация индивидуальных членов группы, в частности, жизненная организация ее ведущих членов, влияет на социальную организацию. Однако природа этого взаимовлияния в каждом отдельном случае представляет собой проблему, которую необходимо исследовать, а не принимать безоговорочно догму.

Эти моменты необходимо иметь в виду для понимания вопроса о социальной дезорганизации. Мы можем кратко определить социальную дезорганизацию как *уменьшение влияния существующих социальных правил поведения на индивидуальных членов группы*. Это уменьшение может иметь бесчисленное множество степеней от одного нарушения какого-то отдельного правила одним индивидом до полного распада всех институтов группы. Таким образом, социальная дезорганизация в этом смысле не имеет никакой определенной связи с *индивидуальной дезорганизацией*, которая заключается в *снижении способности индивида организовывать всю свою жизнь для эффективной, прогрессивной и продолжительной реализации своих фундаментальных интересов*. Индивид, который нарушает некото



рые или даже большинство социальных правил, преобладающих в его группе, действительно может делать это вследствие того, что он теряет минимальную способность жизненной организации, требуемую социальным конформизмом. Однако он может также отвергать схемы поведения, навязываемые его окружением, когда они мешают ему в достижении более эффективной и более всесторонней жизненной организации. С другой стороны, социальная организация группы может быть постоянной и сильной в силу того, что отсутствует оппозиция существующим правилам и институтам, однако это отсутствие может быть простым результатом узости интересов членов группы и может сопровождаться крайне недоразвитой, механической и неэффективной индивидуальной жизненной организацией каждого члена группы. Верным также будет и то, что сильная групповая организация может являться и продуктом сознательного морального усилия ее членов и, таким образом, соответствовать очень высокой степени жизненной организации каждого из них в отдельности. Следовательно, на основе социальной организации или дезорганизации невозможно сделать вывод относительно организации или дезорганизации индивидуальной или наоборот. Иначе говоря, социальная организация несоразмерна с индивидуальной моралью, равно как и социальная дезорганизация не соответствует деморализации индивидуальной.

Социальная дезорганизация не является исключительным феноменом, ограниченным рамками определенных периодов или определенных обществ. Некоторая степень социальной дезорганизации обнаруживается всегда и везде, поскольку всегда и везде существуют индивидуальные случаи нарушения социальных правил, которые оказывают некоторое дезорганизующее влияние на групповые институты. Если этим нарушениям не оказывается противодействие, они имеют тенденцию к умножению и ведут к полному разрушению этих институтов. Однако в периоды социальной стабильности эта постоянная начальная дезорганизация постоянно нейтрализуется такой деятельностью группы, как укрепление власти существующих правил с помощью социальных санкций. Стабильность групповых институтов есть, таким образом, всего лишь динамическое равновесие процессов дезорганизации и реорганизации. Это равновесие нарушается, когда процессы дезорганизации не могут больше сдерживаться какими-либо попытками укрепления существующих правил. Наступает период превалирующей дезорганизации, который может привести к полному распаду группы. Чаще, однако, дезорганизации оказывается противодействие, и до того, как достигнуть этого предела, она останавливается новым процессом реорганизации. Последний в этом случае заключается не в простом укреплении распадающейся организации, а в производстве новых схем поведения и новых институтов, лучше адаптированных к изменившимся требованиям группы; мы называем это производство новых схем и институтов *социальной реконструкцией*. Социальная реконструкция возможна только вследствие того, что в период социальной дезорганизации по крайней мере

часть членов группы не стала индивидуально дезорганизованной, а, напротив, работала в направлении новой и более эффективной личной жизненной организации. То есть, по крайней мере часть конструктивных тенденций, предполагаемых индивидуальной деятельностью членов группы, выразилась в усилиях по созданию новых социальных институтов.

Исследуя процесс социальной дезорганизации, мы должны в соответствии с главной целью всей науки попытаться объяснить его каузально, то есть разложить его конкретную сложность на простые факты, подчиняющиеся более или менее общим законам каузально детерминированного становления. Мы показали в первом томе нашего исследования, что в области социальной реальности причинный факт включает в себя три компонента, иначе говоря, следствие, индивидуальное или социальное, всегда имеет составную причину, содержащую как индивидуальный (субъективный), так и социальный (объективный) элемент. Мы назвали субъективные социо-психологические элементы социальной реальности *установками*, а объективные, социальные элементы, которые навязываются индивиду как нечто данное и вызывают его реакцию, *социальными ценностями*. Если мы хотим объяснить каузально возникновение установки, мы должны помнить, что она никогда не порождается одним только внешним влиянием. Установка порождается внешним влиянием, соединенным с определенной склонностью или предрасположенностью – социальной ценностью, оказывающей воздействие на некоторую предзаданную установку, или более точно, обращающейся к ней. Если мы хотим объяснить каузально возникновение социальной ценности – схемы поведения, института, материального продукта – мы не можем сделать это простым возвращением к некоторому субъективному, психологическому феномену “воли”, “чувства” или “рефлексии”. Мы должны принимать во внимание в качестве части реальной причины предзаданные объективные, социальные данные; в сочетании с субъективной тенденцией они и порождают социальную ценность. Иными словами, мы должны объяснять социальную ценность установкой, действующей на некоторую предзаданную социальную ценность или испытывающей ее влияние.

В центре нашего внимания пока находится только явление дезорганизации, и мы временно оставляем в стороне другой процесс – процесс реконструкции. Феномен, который мы хотим объяснить, – это возникновение таких установок, которые уменьшают эффективность существующих правил поведения и тем самым ведут к разрушению социальных институтов. Каждое социальное правило есть выражение определенной комбинации определенных установок; если вместо этих установок возникают какие-то другие, то влияние правила нарушается. Таким образом, могут существовать несколько различных причин, вследствие которых правило может потерять свою эффективность, и еще больше причин, из-за которых институт, всегда заключающий в себе несколько регулятивных схем, может прийти к разрушению. Причинное объяснение всякого отдельного случая

социальной дезорганизации требует, следовательно, чтобы мы находили прежде всего те отдельные установки, возникновение которых проявляется социально в потере влияния существующих социальных правил, а затем пытались определить причины этих установок. Нам следует стремиться, конечно, разложить очевидные многообразие и сложность отдельных социальных процессов на ограниченное число более или менее общих причинных фактов. Это стремление может быть реализовано в исследовании дезорганизации, если мы обнаружим, что разрушение *различных правил*, существующих в данном обществе, есть объективное проявление *подобных установок*, что, иными словами, многие очевидно различные явления дезорганизации могут каузально объясняться одним и тем же. Мы не можем определить какие-либо законы социальной дезорганизации, то есть мы не можем найти причины, которые всегда и везде порождают социальную дезорганизацию. Мы можем только надеяться определить законы социо-психологического становления, иначе говоря, найти причины, которые всегда и везде производят определенные установки. Эти причины будут объяснять также социальную дезорганизацию во всех тех случаях, когда будет обнаружено, что установки, производимые ими, являются реальным основанием социальной дезорганизации, что разрушение данных правил или институтов есть просто объективное, внешнее проявление возникновения этих установок. Наша задача заключается в том же, что и задача физиков или химиков, которые не пытаются найти законы многообразных изменений, которые происходят в чувственных явлениях нашей материальной окружающей среды. Они скорее заняты поиском более фундаментальных законов и более общих процессов, которые, как предполагается, лежат в основе этих непосредственно наблюдаемых изменений и объясняют последние каузально лишь в той степени, в какой может быть показано, что они являются внешними проявлениями определенных более глубоких, каузально объяснимых следствий. (...)

## *Ричард Фуллер и Ричард Майерс* **Стадии социальной проблемы<sup>1</sup>**

Наш основной тезис заключается в том, что каждая социальная проблема имеет свою историю, и что исторический подход является многообещающей концептуальной рамкой для исследования конкретных социальных проблем.

---

<sup>1</sup> Перевод И.Ясавеева по: Fuller, R.C., Myers, R.R. 'The Natural History of a Social Problem', *American Sociological Review*: 6, June 1941, pp. 320–328.

Прежде всего поясним, как мы понимаем термины “социальная проблема” и “история”. Понятие “социальная проблема” в том смысле, в каком оно используется в этой статье, может быть раскрыто в ряде положений.

1. Социальная проблема – это условие, определяемое значительным числом людей как отклонение от некоторой важной для них социальной нормы. Каждая социальная проблема, таким образом, состоит из объективного условия и субъективного определения. Объективное условие – это верифицируемая ситуация, существование и масштабы которой могут быть проверены непредвзятым и квалифицированным наблюдателем: например, состояние национальной обороны, тенденции уровней рождаемости, безработицы и т.д. Субъективное определение – это осознание определенными индивидами, что данное условие угрожает определенным значимым для них ценностям.

2. Объективное условие необходимо, но само по себе недостаточно для того, чтобы составить социальную проблему. Хотя объективное условие может быть одним и тем же в двух различных местностях, оно может составлять социальную проблему только в одной из них: примером может служить дискриминация черного населения на Юге и Севере. *...Социальные проблемы – это то, что люди считают социальными проблемами*, и если условия не определяются как социальные проблемы теми людьми, которых эти проблемы касаются, они не являются проблемами для этих людей, хотя могут быть проблемами для других, например, для ученых. (...)

3. В объективном условии, которое определяется как проблема, важную причинную роль играют культурные ценности. Например, объективные условия безработицы, расовых предрассудков, незаконнорожденных, преступности, разводов и войны возникают отчасти вследствие того, что люди дорожат определенными убеждениями и поддерживают определенные социальные институты, которые порождают эти условия.

4. Культурные ценности препятствуют изменению условий, определяемых как социальные проблемы, поскольку люди не хотят поддерживать программы улучшения, наносящие ущерб значимым для них убеждениям или институтам, или требуют отказа от них. Например, одним из возможных “решений” проблемы незаконнорожденных было бы принятие обществом практик контрацепции и аборта, которые сами по себе часто определяются как безнравственные.

5. Социальные проблемы, таким образом, предполагают двойной конфликт ценностей. Относительно одних условий люди расходятся во мнениях о том, угрожает ли условие фундаментальным ценностям. Это касается, например, расовых предрассудков, разводов, детского и неорганизованного труда, войны. Относительно других условий, несмотря на общее согласие в том, что условие представляет собой угрозу фундаментальным ценностям, вследствие расхождения других ценностей, касающихся

средств или политики, люди расходятся во мнениях о программах реформы, например, в отношении преступности, умственных и физических заболеваний, несчастных случаев на автодорогах.

6. В конечном счете, социальные проблемы возникают и существуют потому, что люди не разделяют некоторые общие ценности и цели.

7. Из этого следует, что социологи должны исследовать не только такой аспект социальной проблемы, как объективное условие, но также ценностные суждения вовлеченных людей, которые заставляют их определять одно и то же условие и средства решения различным образом.

Специфические аналитические рамки, которые мы назвали “историческим подходом”, основываются на изложенном выше понимании того, что составляет социальную проблему. Исходя из нашего понимания социальной проблемы, мы приписываем всем социальным проблемам некоторые общие характеристики. Эти общие характеристики предполагают общий порядок развития всех социальных проблем, состоящий в определенной временной последовательности в их возникновении и созревании. “История” в том смысле, в каком мы используем этот термин, является, следовательно, всего лишь концептуальным инструментом исследования характеристик социальных проблем.

Социальные проблемы не возникают как нечто окончательное, созревшее, пользующееся вниманием общины и вызывающее адекватную политику, направленную на их решение. Напротив, мы полагаем, что социальные проблемы обнаруживают временной порядок развития, в котором могут быть выделены различные фазы или стадии. Каждая стадия предвосхищает последующую, и каждая последующая стадия содержит новые элементы, которые отличают ее от предыдущей. Социальная проблема, понимаемая, следовательно, как находящаяся всегда в динамичном состоянии “становления”, проходит исторические стадии *осознания, определения политики и реформы...*

Генезис каждой социальной проблемы заключается в пробуждении у населения данной местности осознания того, что определенным значимым для них ценностям угрожают некоторые обострившиеся условия. Тревога возникает только постольку, поскольку считаются затронутыми эти групповые ценности. Без такого осознания (“проблемного сознания”) у определенных групп людей, будь то ученые, работники управления или одинаково мыслящие соседи, нельзя утверждать, что существует идентифицируемая проблема. Социальная проблема может быть выявлена только тогда, когда она осознается людьми, выражающими свою озабоченность в некоторой коммуникабельной или наблюдаемой форме. Характерной особенностью этой начальной фазы осознания являются постоянно повторяющиеся утверждения людей, вовлеченных в данную ситуацию, согласно которым “что-то должно быть сделано”. Пока еще эти люди не кристаллизовали свое определение настолько, чтобы предложить или обсудить кон

кретные меры по улучшению или устранению нежелательного условия. Вместо этого наблюдается несогласованное случайное поведение, а протест выражается в общих терминах. (...)

Очень скоро после возникновения осознания наступает время обсуждения политики, альтернативных решений. Обсуждаются цели и средства, и конфликт социальных интересов становится интенсивным. Люди, предлагающие решения, вскоре обнаруживают, что эти решения неприемлемы для других. Даже когда они убеждают других согласиться с предлагаемым решением, они видят, что перед ними встает следующее затруднение, связанное с достижением согласия в средствах. Стадия определения политики значительно отличается от стадии осознания, поскольку заинтересованные группы озабочены теперь главным образом тем, “что должно быть сделано”, и люди утверждают, что “следует сделать то и это”. В центре внимания находятся специальные программы. Разнообразные протесты становятся организованными и направленными. (...)

Заключительной стадией в истории социальной проблемы является стадия реформы. Здесь мы находим административные образования, занятые осуществлением сформулированной политики. Общая политика уже обсуждена и определена населением в целом, специальными заинтересованными группами и экспертами. Теперь задачей административных лиц, прошедших специальное обучение, является проведение реформы. Это стадия действия – как общественного, так и частного. Теперь акцентируется не идея о том, что “что-то должно быть сделано” или что “следует сделать то или это”, а тот факт, что “делается то и это”. Общественное действие представлено аппаратом правительственных, законодательных, исполнительных и судебных органов, а также делегированной властью административных судов, специальных инспекторов и комиссий. Это институционализируемая фаза социальной проблемы в том смысле, что мы видим установленную политику, проводимую уполномоченными общественностью исполнительными органами. Реформа может быть также частной по своему характеру, о чем свидетельствует деятельность частных клубов и организаций, частных благотворительных учреждений и церковных групп. (...)

Очевидно, что исторические стадии не являются взаимоисключающими, они имеют тенденцию частично совпадать. Однако в аналитических целях эти три фазы могут быть отделены друг от друга; в реальности же развитие проблемы обычно всегда содержит элементы всех трех стадий. (...)

Эдвин Лемерт

## Первичное и вторичное отклонения<sup>1</sup>

(С. 75–78) Существует невероятное количество теорий, объясняющих различные отклонения в человеческом поведении, и часто они совершенно не связаны друг с другом. Относительно некоторых типов отклонения, таких, как алкоголизм, преступность или проституция, существует почти столько же теорий, сколько существует авторов, пишущих на эти темы. В немалой степени это вызвано сосредоточенностью на причинах [девиантного] поведения и смешением *исходных* и *действительных* причин. Все эти теории содержат элементы истины и могут быть согласованы с общей теорией если допустить, что исходные причины или условия девиантного поведения многочисленны и разнообразны. Это относится в частности к психологическим процессам, порождающим сходные отклонения, а также к ситуационным обстоятельствам начального отклоняющегося поведения. Человек может начать потреблять алкоголь в чрезмерных дозах не только в силу целого ряда субъективных причин, но также вследствие различных ситуационных факторов, таких, как смерть любимой или любимого, провала в своем деле или участия в некоторого рода организованной групповой деятельности, требующей изрядного потребления спиртных напитков. Какими бы ни были исходные причины нарушения норм сообщества, они важны только для определенных исследовательских целей, таких, как оценка степени “социальной проблемы” в данное время или определение необходимых условий для рациональной программы социального контроля. С более узкой *социологической точки зрения* ...отклонения незначительны до тех пор, пока они не организованы субъективно, не трансформировались в активные роли и не стали социальными критериями для приписывания статуса. Девиантные индивиды должны символически отреагировать на отклонения в своем поведении и закрепить их в своих социопсихологических образцах. Отклонения остаются первичными отклонениями или симптоматическими и ситуационными, пока они рационализируются или подвергаются дополнительному воздействию как функции социально приемлемой роли. При таких условиях нормальное поведение и поведение патологическое остаются случайными и напряженно взаимодействующими партнерами в рамках одной и той же личности. Несомненно, в нашем обществе существует огромный пласт такого сегментированного и частично интегрированного девиантного поведения, что влияет на работу многих авторов в данной области.

---

<sup>1</sup> Перевод И.Ясавеева по: Lemert, E.M. *Social Pathology*, New York: McGraw-Hill, 1951.

Неизвестно, насколько далеко индивид может зайти в отделении своих девиантных тенденций так, чтобы они были всего лишь причиняющими беспокойство придатками нормально воспринимаемых ролей. Возможно, это зависит от того ряда альтернативных определений одного и того же явного поведения, который он может разработать... Однако если девиантные акты повторяются и становятся очевидными, если наблюдается жесткая социетальная реакция, которая посредством процесса идентификации инкорпорируется как часть “я” индивида, то значительно возрастает вероятность того, что интеграция существующих ролей будет нарушена, и что произойдет реорганизация на основе новой роли или новых ролей. (“Я” в этом контексте является всего лишь субъективным аспектом этой социетальной реакции.) Реорганизация может заключаться в принятии другой нормальной роли, в которой тенденции, прежде определяемые как “девиантные”, получают более приемлемое социальное выражение. Другой общей возможностью является принятие девиантной роли, если таковая существует, или (более редкий вариант) организация индивидом отклоняющейся секты или группы, в которой он создает для себя специальную роль. *Когда индивид начинает использовать свое девиантное поведение или свою роль, основанную на девиантном поведении, в качестве средства защиты, наступления или приспособления к своим явным и скрытым проблемам, порожденным последовавшей социетальной реакцией, его отклонение является вторичным.* Объективные проявления этого изменения обнаруживаются в символических принадлежностях новой роли, одежде, речи, позе, манерах, которые в некоторых случаях увеличивают социальную видимость, а в некоторых служат символическими указаниями на профессионализацию.

Роли индивида должны быть подкреплены реакцией других индивидов. (...) Один девиантный акт редко влечет за собой достаточно сильную социетальную реакцию для того, чтобы вызвать вторичное отклонение, если только в процессе интроекции индивид не вносит в социальную ситуацию или не проецирует на нее те смыслы, которых в ней нет. В этом случае действуют предварительные страхи. Например, в рамках культуры, когда ребенка учат тому, что существуют отчетливые различия между “хорошими” и “плохими” женщинами, единственный акт нарушения общепринятой морали предположительно может иметь глубокий смысл для “нарушившей правила” девушки. Однако сомнительно, что при отсутствии реакции со стороны семьи, соседей или общины, подкрепляющих предварительное “плохое” самоопределение, произойдет переход к вторичному отклонению. Также сомнительно, приведет ли временная подверженность личности суровой карательной реакции со стороны общины к отождествлению себя с девиантной ролью, если только, как мы сказали, этот опыт не является крайне травмирующим. Чаще всего существует прогрессирующая взаимосвязь между отклонением индивида и социетальной реакцией (когда



социетальная реакция составляет из незначительных продвижений в девиантном поведении) до тех пор, пока не будут достигнута точка, в которой отношения между обществом и девиантом становятся вполне определенными. В этой точке происходит стигматизация девианта в форме присвоения имени, наклеивания ярлыка или стереотипизации.

Порядок взаимодействия, ведущего к вторичному отклонению, является примерно следующим: 1) первичное отклонение; 2) социальные наказания; 3) дальнейшее первичное отклонение; 4) более сильные наказания и отвержение; 5) дальнейшее отклонение, сопровождающееся возможным возмущением и враждебностью, направленными на тех, кто осуществляет наказание; 6) кризис, связанный с превышением меры терпимости (выражением этого кризиса являются формальные действия общины, стигматизирующие девианта); 7) усиление девиантного поведения как реакция на стигматизацию и наказания; 8) окончательное принятие девиантного социального статуса и попытки приспособиться [к реакции общества] на основании связанной с этим девиантной роли.

В качестве иллюстрации этой последовательности можно привести поведение “трудного” школьника. По той или иной причине (скажем, излишней энергии) школьник участвует в какой-то шалости в классе, за что наказывается учителем. Спустя некоторое время он опять нечаянно нарушает порядок и опять получает выговор. Затем, как это иногда случается, мальчик обвиняется в том, чего он не делал. Когда учитель употребляет по отношению к нему такие ярлыки, как “бестолочь”, “хулиган” или другие обидные выражения, это вызывает у школьника враждебность и возмущение, и он может почувствовать, что он зажат в тисках ожидаемой от него роли. Затем может возникнуть сильный соблазн принять свою роль в классе в том виде, в каком она определяется учителем, тем более что школьник обнаруживает, что такая роль наряду с наказаниями может приносить определенные выгоды. Это не означает, конечно, что эти школьники в будущем станут делинквентами или преступниками, поскольку роль озорника может впоследствии интегрироваться с какой-либо другой ролью или ретроспективно рационализироваться как часть роли, более приемлемой для руководства школы. Если такой школьник продолжает играть неприемлемую роль и становится делинквентом, то этот процесс можно объяснить с точки зрения общей теории, излагаемой в настоящей книге. На каждой стадии этого процесса должно продолжаться усиление девиантного самоопределения и его социетальное подкрепление.

Наиболее значительные изменения личности проявляются тогда, когда социетальные определения и их субъективная сторона становятся обобщенными. Когда это происходит, основные варианты выбора сужаются до одного общего варианта. Это вполне очевидно в случае девушки – дочери бывшего заключенного, посещавшей небольшой колледж на Среднем Западе. Она постоянно говорила себе и автору, которому доверяла, что на

самом деле принадлежит к миру “ по ту сторону железной дороги”, и что ее жизнь чрезвычайно упростилась бы уступкой этому мнению и поведением в соответствии с ним. Несмотря на то, что у этой девушки наблюдалась тенденция драматизировать данный конфликт, для этого, однако, существовало определенное основание: ее самоопределение имело достаточное социетальное подкрепление тем обращением, которое она получала в отношениях со своим отцом и на свиданиях с ребятами из колледжа. ...Стоило этим юношам проводить ее домой в дешевое жилище в районе трущоб, где она жила со своим отцом, который часто пьянствовал, они сразу прекращали встречаться с ней или начинали вести себя бесцеремонно в сексуальном отношении. (...)

*Говард Беккер*

### **Девиантность как следствие “наклеивания ярлыков”<sup>1</sup>**

(С. 8–33) Согласно одной из социологических точек зрения, девиантность определяется как нарушение некоторого установленного правила. Далее исследуется, кто нарушает правила, и ведется поиск особенностей личности и жизненной ситуации, которые могут объяснить эти нарушения. Предполагается, что те, кто нарушили правило, составляют однородную категорию, поскольку все они совершили один и тот же девиантный акт.

Такое допущение, на мой взгляд, игнорирует центральный факт девиантности, который заключается в том, что девиантность создается обществом. Я не имею в виду то, что обычно понимается под такого рода утверждениями, – что причины девиантности заключаются в социальной ситуации девианта или в “социальных факторах”, которые вызвали его действие. Я имею в виду следующее: *социальные группы создают девиантность, создавая правила, нарушение которых составляет отклонение*, применяя эти правила к отдельным индивидам и наклеивая на них ярлык аутсайдеров. С этой точки зрения, девиантность – это не свойство акта индивида, а скорее следствие применения другими индивидами правил и санкций к “нарушителю”. Девиант – это тот, на кого удалось наклеить этот ярлык; девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, на которое люди наклеили ярлык девиантного.

Поскольку девиантность является помимо всего прочего следствием реакции других на действие индивида, исследователи при изучении людей, на которых был наклеен ярлык девиантов, не могут исходить из допущения, что они имеют дело с однородной категорией. То есть они не должны

---

<sup>1</sup> Перевод И.Ясавеева по: Becker, H.S. *Outsiders*, Glencoe: Free Press, 1963.

предполагать, что эти люди действительно совершили девиантный акт или нарушили некоторое правило, поскольку процесс наклеивания ярлыков не может быть безошибочным; ярлык девианта может быть наклеен на тех людей, которые на самом деле не нарушали правила. Кроме того, нельзя предполагать, что категория людей с ярлыком девианта будет включать в себя всех тех, кто действительно нарушил правило, так как многие правонарушители могут избежать задержания и, таким образом, оказаться вне исследуемой популяции “девиантов”. Поскольку эта категория лишена однородности и не может охватить все относящиеся к ней случаи, то нельзя рассчитывать на обнаружение общих факторов личности или жизненной ситуации, которые объяснят предполагаемое отклонение.

Что же тогда есть общего у людей, на которых был наклеен ярлык девиантов? По крайней мере они имеют один и тот же ярлык аутсайдеров и опыт ношения этого ярлыка. Я начну свой анализ с этого основного сходства и буду рассматривать девиантность как результат взаимодействия между некоторой социальной группой и тем, кого группа считает нарушителем правила. Я в меньшей степени буду заниматься личными и социальными характеристиками девиантов и в большей – процессами, посредством которых они начинают восприниматься как аутсайдеры, и их реакцией на это восприятие. (...)

Степень реакции окружающих на некоторый акт как на девиантный крайне изменчива. Прежде всего, степень реакции зависит от времени. С человеком, который, как предполагается, совершил “девиантный” акт, в разное время могут обходиться по-разному. Периодические кампании против различных видов девиантности представляют собой хорошую иллюстрацию сказанному. Временами представители исполнительных органов решают предпринимать решительное наступление на какой-то отдельный вид девиантности, такой, как игорный бизнес, наркомания или гомосексуальность. Очевидно, что заниматься каким-то из этих видов деятельности гораздо опаснее во время такой кампании, чем когда-либо<sup>1</sup>.

То, насколько девиантным будет считаться данное действие, зависит также от того, кто совершает действие и кто полагает, что ему этим действием был нанесен вред. Правила обычно применяются в большей степени к одним и в меньшей – к другим. Исследования подростковой делинквентности проясняют этот момент. Ситуация с подростками из районов прожи

---

<sup>1</sup> В ходе очень интересного исследования криминальных новостей в газетах американского штата Колорадо Ф.Дэвис обнаружил, что количество газетных сообщений о преступлениях в Колорадо в крайне незначительной степени связано с реальными изменениями в количестве преступлений, совершаемых в штате. Кроме того, оценки населением роста уровня преступности в Колорадо были связаны с увеличением объема криминальных новостей, а не с каким-либо реальным уровнем преступности. (См.: Davis, F.J. ‘Crime News in Colorado Newspapers’, in *American Journal of Sociology*, LVII, January, 1952, pp. 325–330)

вания среднего класса, когда их задерживает полиция, не заходит в правовом процессе столь же далеко, как в случае с подростками из районов трущоб. Для них существует меньшая вероятность быть доставленными в отделение, меньшая вероятность при доставке в отделение быть зарегистрированными и гораздо меньшая вероятность быть признанными виновными и осужденными. Это различие возникает несмотря на то, что первоначальное нарушение правила является одним и тем же в двух случаях. Подобно этому закон дифференцированным образом применяется по отношению к черным и белым. Всем хорошо известно, что черный, который, как предполагается, напал на белую женщину, с гораздо большей вероятностью будет наказан, нежели белый, совершивший точно такое же правонарушение. Однако черный, убивший другого черного, имеет гораздо меньшую вероятность быть наказанными, чем белый, совершивший убийство. В этом заключается одно из основных положений концепции беловоротничковой преступности Сазерленда: преступления, совершаемые корпорациями, почти всегда рассматриваются в рамках гражданского права, тогда как такие же преступления, совершенные индивидом, обычно рассматриваются в рамках права уголовного.

Некоторые правила применяются только тогда, когда действие имеет определенные последствия. Очевидным примером являются незамужние матери. К. Винсент указывает, что недозволенные сексуальные отношения редко ведут к строгому наказанию или общественному осуждению провинившихся. Однако если девушка забеременеет, реакция окружающих, вероятно, будет жесткой<sup>1</sup>. (Внебрачная беременность является также интересным примером дифференцированного применения правил к различным категориям людей. Винсент отмечает, что неженатые отцы не осуждаются столь же сурово, как незамужние матери.)

В чем смысл возврата к этим расхожим наблюдениям? В том, что вместе они подтверждают следующее положение: девиантность не является простым свойством одних видов поведения, будучи чуждым другим. Это скорее результат процесса, включающего в себя реакции других людей на такое поведение. Одно и то же поведение может быть нарушением правил в одно время и не являться таковым в другое время; оно может являться нарушением, когда это поведение одного лица, и не являться таковым, когда это поведение другого; одни правила нарушаются безнаказанно, а другие – нет. Иными словами, является ли данный акт девиантным или нет, зависит отчасти от характера акта (то есть, нарушает этот акт некоторое правило или нет), а отчасти – от реакции других людей на этот акт.

Кое-кто может возразить, что это всего лишь игра слов, что можно в конце концов определять термины любым желательным образом, и что если кто-то хочет обсуждать поведение, нарушающее правила, как поведение

---

<sup>1</sup> См.: Vincent, C. *Unmarried Mothers*, New York: The Free Press of Glencoe, 1961, pp. 3–5.

девиантное, то для этого нет никаких препятствий. Все это, разумеется, верно. Тем не менее, имеет смысл обозначать такое поведение как *поведение, нарушающее правила* [rule-breaking behavior], оставляя термин “девиантный” для тех, на кого некоторая часть общества наклеила ярлык девианта. Я не настаиваю на том, чтобы следовать такому использованию терминов. Однако должно быть ясно, что если ученый использует термин “девиантный” для обозначения любого поведения, нарушающего правила, и делает предметом своего исследования только тех, на кого был *наклеен ярлык* девианта, то он столкнется с проблемой несоответствия этих двух категорий.

Если мы делаем объектом нашего внимания поведение, на которое наклеивается ярлык девиантного, то мы должны согласиться с тем, что до появления реакции других людей мы не можем знать, будет ли данный акт отнесен к категории девиантного. Девиантность не является качеством самого поведения, это – качество взаимодействия между индивидом, который совершает акт, и теми, кто реагирует на него. (...)

Клеймение индивида в качестве девианта имеет важные следствия в отношении дальнейшего социального участия и представления этого индивида о самом себе. Наиболее важным следствием является радикальное изменение его публичной идентичности. Совершение осуждаемого действия и обнаружение индивида на месте совершения, о чем стало известно окружающим, придают этому индивиду новый статус. Выясняется, что он является не тем, за кого его принимали. На него наклеивается ярлык “гомосексуал”, “наркоман”, “псих” или “сумасшедший”, и с ним начинают обращаться соответствующим образом.

Для анализа последствий принятия девиантной идентичности используем различие, которое Э.Хьюз проводит между главными и вспомогательными статусными чертами<sup>1</sup>. Хьюз указывает, что большинство статусов имеют одну основную черту, которая служит для различения тех, кто принадлежит к этому статусу, и тех, кто не принадлежит. Так, врач, кем бы он ни был еще, это человек, который имеет сертификат, подтверждающий то, что он удовлетворяет определенным требованиям и наделен правом заниматься врачебной практикой. Это является главной его чертой. Как указывает Хьюз, в нашем обществе от врача обычно неформально ожидается ряд вспомогательных черт: большинство людей ожидают, что он будет относиться к высшему среднему классу, будет белым, мужчиной и протестантом. Когда это не так, то возникает ощущение, что он не соответствует своему назначению. Подобным образом, несмотря на то, что цвет кожи – это главная статусная черта, определяющая, кто черный, а кто белый, неофициально ожидается, что черные имеют одни статусные черты и лишены других. Люди удивляются и находят ненормальным, если черный ока

---

<sup>1</sup> См.: Hughes, E.C. ‘Dilemmas and Contradictions of Status’ in *American Journal of Sociology*, Vol.L, March 1945, pp. 353–359.

зывается врачом или профессором колледжа. Люди часто обладают главной статусной чертой, но не имеют некоторых вспомогательных, неформально ожидаемых характеристик: например, кто-то может быть врачом, будучи женщиной или черным.

Хьюз отмечает, что кто-то может иметь формальную квалификацию для обладания данным статусом, но ему может быть отказано в полном вхождении вследствие отсутствия соответствующих вспомогательных черт. Хьюз занимается этим феноменом в отношении уважаемых и желательных статусов, однако тот же процесс происходит и в случае статусов девиантных. Обладание одной девиантной чертой может иметь обобщенное символическое значение – люди автоматически допускают, что обладатель этой черты обладает также другими нежелательными характеристиками, якобы связанными с ней.

Для того, чтобы получить ярлык преступника, надо всего лишь совершить одно уголовное преступление; это все, что формально означает термин “преступник”. Однако это слово имеет ряд дополнительных значений, устанавливающих вспомогательные характеристики всякого, кто носит этот ярлык. Предполагается, что человек, осужденный за кражу со взломом и вследствие этого получивший ярлык преступника, может совершить кражи и в других домах; полиция, проводя облаву на известных преступников после совершенного преступления, действует, исходя из этой предпосылки. Предполагается, что этот человек способен совершить также другие преступления, поскольку он проявил себя как лицо, “не уважающее закон”. Таким образом, задержание за один девиантный акт делает вероятным то, что этот человек будет считаться девиантом или нежелательным лицом в других отношениях.

В анализе Хьюза есть еще один элемент, который мы можем использовать – различие главного и подчиненного статусов. Одни статусы как в нашем, так и в других обществах перевешивают все другие и имеют определенный приоритет. Раса – один из них. Принадлежность к черной расе перевешивает большинство других статусных соображений в большинстве ситуаций; тот факт, что кто-то является врачом или членом среднего класса или женщиной, не может предотвратить того, что к этому человеку будут относиться прежде всего как к черному и только затем как к врачу, представителю среднего класса или женщине. Статус девианта (в зависимости от вида отклонения) является главным статусом такого рода. Этот статус получают в результате нарушения правила, и эта идентификация оказывается более важной, чем все остальные. Человек прежде всего будет идентифицироваться как девиант, и только затем как кто-то еще.

*Герберт Блумер*

## **Социальные проблемы как коллективное поведение<sup>1</sup>**

Основной мой тезис заключается в том, что социальные проблемы не имеют независимого существования в качестве совокупности объективных социальных условий, а являются прежде всего результатами процесса коллективного определения. Этот тезис идет вразрез с той посылкой, которая лежит в основании обычного социологического исследования социальных проблем.

Начнем с краткого описания традиционного социологического подхода к исследованию и анализу социальных проблем. Такой подход предполагает, что социальная проблема существует как объективное условие в структуре общества. Считается, что это объективное условие имеет вредную или злокачественную природу, противоположную природе нормального или социально здорового общества. На социологическом жаргоне это определяется как состояние дисфункции, патологии, дезорганизации или девиантности. Задача социолога заключается в том, чтобы выявить вредное условие и разложить его на существенные элементы или части. Этот анализ объективного строения социальной проблемы обычно сопровождается определением условий, которые вызвали проблему, и предложением путей ее разрешения. Проанализировав объективную природу социальной проблемы, установив ее причины и указав, каким образом проблема может быть решена, социолог полагает, что он выполнил свою научную миссию. Знание и информация, которую он собрал, могут, с одной стороны, пополнить запас научного знания, а с другой – быть предоставлены политикам и рядовым гражданам.

Такой типичный для социологии подход представляется на первый взгляд логичным, обоснованным и оправданным. Однако, на мой взгляд, он отражает грубое непонимание природы социальных проблем и, соответственно, является крайне неэффективным в обеспечении контроля над ними. В качестве первоначального, исходного указания на неадекватность этого подхода определим в нескольких словах, в чем заключается ложный или недоказанный характер его ключевых допущений.

Во-первых, современные социологическая теория и социологическое знание сами по себе не способны установить или идентифицировать социальную проблему. Социологи распознают социальные проблемы только после их признания в качестве таковых обществом. Социологическое признание социальных проблем идет в кильватере социетального признания,

---

<sup>1</sup> Перевод И.Ясавеева по: Blumer, G. 'Social Problems as Collective Behaviour', in *Social Problems*, vol. 18, 1971, pp. 298–306.

меня направление вместе с ветром общественной идентификации социальных проблем. Примеров этому имеется множество. Бедность была серьезной социальной проблемой для социологов полвека назад, затем практически исчезла с социологической сцены в 1940-е и в начале 1950-х гг., а затем вновь появилась в наше время. ...Загрязнение окружающей среды является социальной проблемой современного типа для социологов, хотя существование и проявления угрожающей экологической ситуации насчитывают не один десяток лет. Проблема неравенства женского статуса, столь решительно заявляющая о себе на нашей научной сцене, имела периферийное значение для социологов несколько лет назад. Не обращаясь к другим примерам, я просто утверждаю, что, идентифицируя социальные проблемы, социологи постоянно руководствовались тем, что находилось в фокусе общественного беспокойства. Этот вывод подтверждается безразличием социологов и общества в равной степени по отношению ко многим сомнительным и угрожающим феноменам современной жизни. Эти феномены могут отмечаться время от времени, но, несмотря на их серьезность, они не получают статуса социальных проблем в работе социологов. Приведу лишь несколько приходящих на ум примеров: колоссальная и продолжающаяся развиваться заорганизованность современной жизни, ...губительные социальные последствия нашей национальной системы автомагистралей, пагубные социальные последствия идеологии "роста", неприглядные стороны обычной деловой этики. (...) Я полагаю, эмпирические данные ясно показывают, что признание социальных проблем социологами основывается на общественном признании.

К сказанному остается только добавить, что, несмотря на претензии социологов, социологическая теория *сама по себе* совершенно беспомощна в определении или идентификации социальных проблем. Это заметно в отношении трех наиболее "престижных" социологических понятий, которые используются в настоящее время для объяснения возникновения социальных проблем, а именно, понятий "девиантность", "дисфункция" и "структурное напряжение". В качестве средства идентификации социальных проблем перечисленные понятия оказываются бесполезными. Во-первых, ни одно из них не имеет набора исходных показателей, на основании которых исследователь мог бы обнаружить в эмпирическом мире так называемые примеры девиантности, дисфункции или структурного напряжения. Испытывая недостаток таких ясных идентифицирующих характеристик, исследователь не может обратиться к какому-либо социальному условию и установить, является оно примером девиантности, дисфункции, структурного напряжения или нет. Однако этот недостаток, серьезный уже сам по себе, не является самым существенным в рассматриваемом мною вопросе. Значительно более важной представляется неспособность исследователя объяснить, почему одни примеры девиантности, дисфункции или структурного напряжения, замеченные им, не могут достичь статуса соци



альных проблем, тогда как другие получают этот статус. Существует множество разнообразных видов девиантности, которые не получают признания в качестве социальных проблем; нам никогда не говорят, как или когда отклонение становится социальной проблемой. Так же точно существует множество предполагаемых дисфункций или структурных напряжений, которые в качестве социальных проблем никогда не рассматриваются, и нам не говорят, как и когда так называемые дисфункции или структурные напряжения становятся социальными проблемами. Очевидно, что нет тождества между девиантностью, дисфункцией и структурным напряжением с одной стороны, и социальными проблемами – с другой.

Если традиционная социологическая теория решительно неспособна идентифицировать социальные проблемы, и если социологи занимаются такой идентификацией, ориентируясь на общественное признание социальных проблем, то из этого следует, что исследователи социальных проблем должны изучать процесс, посредством которого общество признает социальные проблемы. Социологи, однако, этим не занимались.

Второй недостаток традиционного социологического подхода заключается в том его допущении, что социальная проблема существует в обществе главным образом в форме идентифицируемого объективного условия. Социологи относятся к социальной проблеме так, словно она состоит из ряда объективных компонентов, таких, как уровни или показатели, тип людей, связанных с данной проблемой, их число, их социальные характеристики, отношение их условий к различным отобраным социетальным факторам. Предполагается, что разложение социальных проблем на подобные объективные элементы позволяет “схватить” сущность проблемы и представляет собой ее научный анализ. На мой взгляд, это допущение ошибочно. Как я предполагаю показать ниже, социальная проблема существует прежде всего с той точки зрения определения и восприятия в обществе, не являясь объективным условием с определенной объективной структурой. Социетальное определение придает социальной проблеме ее характер, обуславливает как подход к ней, так и то, что предпринимается в отношении этой проблемы. Относительно этого решающего влияния так называемое объективное существование или структура социальной проблемы на самом деле весьма вторичны. Социолог может отмечать, что на его взгляд является пагубным условием в обществе, но общество может игнорировать существование этого условия. В таком случае условие не является социальной проблемой для общества, несмотря на доказанное объективное его существование. ...Эти наблюдения свидетельствуют о необходимости исследовать процесс, посредством которого общество рассматривает, определяет свои социальные проблемы и обращается с ними. Исследователи социальных проблем очевидно игнорировали этот процесс, поскольку в социологической теории он не рассматривается.

Третье крайне спорное допущение, составляющее основание традиционной ориентации социологов в исследовании социальных проблем, заключается в том, что данные, полученные в результате исследования объективной структуры социальной проблемы, наделяют общество надежными и эффективными средствами ее решения. Все, что необходимо или следует сделать обществу, это обратить внимание на представленные данные и следовать той логике действий в отношении проблемы, которую эти данные подсказывают. Однако во многом это допущение является абсурдным. Оно игнорирует или искажает то, каким образом действует общество в отношении социальных проблем. Социальная проблема всегда является средоточием различных, подчас конфликтующих интересов, намерений и целей. Именно взаимодействие этих интересов и целей определяет то, каким образом общество действует в отношении какой-либо социальной проблемы. Социологическое описание объективной структуры данной проблемы находится далеко за пределами указанного взаимодействия. ...Эта удаленность социологического исследования от реального процесса деятельности общества в отношении его проблем является главной причиной неэффективности социологического изучения социальных проблем.

Отмеченные выше недостатки имеют принципиальный характер, однако их критика является лишь началом необходимой полноценной критики традиционного социологического подхода к социальным проблемам. Вместе с тем, они служат ключом и, следовательно, прологом к развитию того тезиса, что социальные проблемы являются результатом процесса коллективного определения. Этот процесс обуславливает возникновение социальных проблем, то, каким образом они представляются, подход к ним и их рассмотрение, форму разрабатываемого официального плана решения проблемы и трансформацию этого плана в ходе его осуществления. Короче говоря, процесс коллективного определения детерминирует развитие и судьбу социальных проблем от начальной точки их возникновения до конечного пункта существования. Проблемы существуют прежде всего в этом процессе коллективного определения, а не являются некой объективной сферой опасности. Неспособность признать этот факт составляет, на мой взгляд, фундаментальный недостаток социологического исследования социальных проблем. (...)

Для того, чтобы понять возникновение, развитие и судьбу социальных проблем в рамках процесса коллективного определения, необходимо рассмотреть механизм последнего. На мой взгляд, данный процесс включает в себя пять стадий: 1) возникновение социальной проблемы, 2) легитимация проблемы, 3) мобилизация действия в отношении проблемы, 4) формирование официального плана действия и 5) трансформация официального плана в ходе его эмпирического осуществления.

### ***Возникновение социальных проблем***

Социальные проблемы не являются результатом существенных сбоев в функционировании общества, это результат процесса определения, в ходе которого данное условие отбирается и идентифицируется как социальная проблема. Социальная проблема не существует для общества до тех пор, пока общество не признает, что она существует. Не осознавая социальную проблему, общество не воспринимает ее, не обращается к ней, не обсуждает ее и ничего не предпринимает. Проблемы просто нет. Необходимо, следовательно, рассмотреть, каким образом возникают социальные проблемы. Несмотря на решающее значение этого вопроса, он, в сущности, игнорировался социологами.

Грубой ошибкой было бы полагать, что любое вредное или злокачественное социальное условие в обществе автоматически становится социальной проблемой для этого общества. История изобилует примерами ужасных социальных условий, не замечаемыми в тех обществах, в которых они возникали. Внимательные наблюдатели, использующие стандарты какого-либо общества, могут заметить существование вредных условий в другом обществе, абсолютно не воспринимаемых как проблемы членами последнего. Далее, индивиды, проникательные в отношении своего общества или наделенные в результате бедствий способностью воспринимать определенные социальные условия своего общества как вредные, могут быть бессильны в том, чтобы пробудить какое-либо общественное беспокойство относительно этих условий. Кроме того, данные социальные условия могут игнорироваться в один период времени, и, совершенно не изменившись, стать предметом глубокого беспокойства – в другой. Подобного рода примеры настолько часто встречаются, что не требуют документального подтверждения. Большая часть наблюдений и размышлений ясно показывает, что признание обществом социальных проблем является крайне избирательным процессом, при этом многие вредные социальные условия не удостоиваются никакого внимания, а другие оказываются на обочине зачастую жестокой конкурентной борьбы [между социальными проблемами]. Многие проблемы находятся на пути к социетальному признанию, но лишь некоторые из них достигают конца этого пути.

Можно предположить, что исследователи социальных проблем должны почти автоматически считаться с необходимостью изучать процесс, посредством которого данные социальные условия признаются в качестве социальных проблем. Однако в общем и целом социологи либо не считают с этой необходимостью, либо обходят ее. Социологические трюизмы, такие, как “восприятие социальных проблем зависит от идеологий или традиционных убеждений”, практически ничего не говорят нам о том, что общество избирает в качестве своих социальных проблем, и каким образом это происходит. Вряд ли проводились какие-либо исследования, и накоплено ничтожно мало сведений о следующем:

- роль агитации в достижении признания проблемы;
- роль насилия в обретении такого признания;
- деятельность заинтересованных групп, ожидающих получения материальных выгод в результате перевода некоего условия на уровень проблемы (таких, как полиция в случае с современной проблемой преступности и наркомании);
- роль политических деятелей в провоцировании беспокойства относительно одних проблем и снижении беспокойства относительно других;
- роль влиятельных организаций и корпораций в том же процессе;
- беспомощность групп, не обладающих властью, в привлечении внимания к тому, что они считают проблемами;
- роль средств массовой коммуникации в отборе социальных проблем;
- роль случайных, шокирующих общественность событий.

Существует огромная область, требующая исследования в том случае, если мы хотим разобраться в простом, но фундаментальном вопросе: каким образом возникают социальные проблемы. (...)

### ***Легитимация социальных проблем***

Социетальное признание дает жизнь социальной проблеме. Но для того, чтобы социальная проблема развивалась и не гибла, едва родившись, она должна получить социальную легитимность. Рассуждение о том, что социальные проблемы должны быть легитимированы, может показаться странным. Тем не менее, после приобретения первоначального признания социальная проблема должна получить социальную поддержку (endorsement) для того, чтобы восприниматься серьезно и продвигаться в своем развитии. Социальная проблема должна приобрести необходимую степень респектабельности, предоставляющей ей право быть рассматриваемой на признанных аренах общественного обсуждения. В нашем обществе такими аренами являются пресса, другие средства коммуникации, церковь, школа, гражданские организации, законодательные собрания и места сосредоточения должностных лиц (бюрократии). Если социальная проблема не имеет мандата респектабельности, необходимого для выхода на такие арены, то она обречена. Не следует думать, что признание данного социального условия опасным некоторыми людьми – теми, кто действительно обращает на него внимание посредством агитации, – означает, что проблема прорвется на арену общественного рассмотрения. Напротив, проблема, о которой говорят, может считаться незначительной, не заслуживающей рассмотрения, соответствующей обычному порядку вещей и, таким образом, не требующей вмешательства; необходимость ее разрешения может быть признана противоречащей порядку приоритетности рассмотрения проблем, а само ее существование может расцениваться как

кликушество подозрительных или разлагающих общество элементов. Любое из этих условий может помешать уже признанной проблеме приобрести легитимность. Если социальная проблема не в состоянии получить легитимность, она “застревает” и “чахнет” за пределами арены общественного действия.

Мне хочется подчеркнуть, что из широкого множества социальных условий, признаваемых вредными различными группами людей, легитимности достигают относительно немногие. Здесь мы вновь сталкиваемся с избирательным процессом, в ходе которого одни развивающиеся социальные проблемы ставятся перед необходимостью отказа от своих притязаний, другие игнорируются, третьи вынуждены пробивать себе дорогу к респектабельному статусу, четвертые продвигаются к легитимности посредством сильной и влиятельной поддержки. Мы очень мало знаем об этом избирательном процессе, который должны пройти социальные проблемы для того, чтобы достичь стадии легитимности. Разумеется, такой переход не обуславливается лишь степенью важности данной социальной проблемы. Он также не обуславливается ни предшествующим состоянием общественного интереса или знания, ни так называемыми общественными идеологиями. Этот избирательный процесс гораздо сложнее, чем предполагают эти простые и тривиальные идеи. Очевидно, многие факторы, которые воздействуют на признание социальных проблем, продолжают играть свою роль и в отношении легитимации последних. Ясно, однако, что существуют и другие благоприятные факторы, благодаря которым социальные проблемы получают едва уловимое качество социальной респектабельности. Мы многого не знаем об этом процессе, поскольку он практически не исследовался. Безусловно, этот вопрос является важнейшим, и его нельзя обходить стороной в исследованиях социальных проблем.

### ***Мобилизация действия***

Если социальная проблема прошла стадии социетального признания и социальной легитимации, она вступает в новую стадию своего развития. Проблема теперь становится объектом обсуждения, полемики, различных описаний и разнообразных требований. Те, кто стремится к изменениям по части данной социальной проблемы, сталкиваются с теми, кто пытается защищать интересы истеблишмента в этой области. Завышенные требования и искаженные описания, содействующие интересам истеблишмента, становятся общераспространенным явлением. Чувства и представления посторонних, чье отношение к данной ситуации является косвенным, тоже вносят свой вклад в построение проблемы. Обсуждение, защита, оценка, фальсификация, отвлекающая тактика и выдвижение предложений – все это имеет место в деятельности средств коммуникации, в стихийных и организованных митингах, в работе законодательных палат. ...Все это составляет мобилизацию общества в отношении социальной проблемы. Едва

ли необходимо указывать, что судьба социальной проблемы в значительной степени зависит от того, что произойдет в ходе процесса мобилизации. Как определяется проблема, как она изменяется под влиянием пробудившегося социального чувства, как она изображается с целью защиты интересов истеблишмента и как она отражает роль стратегических позиций и власти – все это неизбежные вопросы, говорящие о важности процесса мобилизации действия.

Как мне представляется, исследователи социальных проблем обходят вниманием и эту стадию процесса коллективного определения. В основном наше знание об этой стадии исходит от исследователей общественного мнения. Тем не менее, их вклад фрагментарен и крайне неадекватен прежде всего вследствие отсутствия детального эмпирического анализа этого процесса. Исследования общественного мнения очень мало говорят о том, каким образом определенные социальные проблемы выживают в этих столкновениях, и как они переопределяются для того, чтобы выжить. Точно так же они почти ничего не говорят нам о том, как “отмирают” другие социальные проблемы, постепенно исчезающие именно на этой стадии. Исследователи, не замечающие этой решающей стадии в развитии (“карьере”) социальных проблем, представляются мне крайне близорукими.

### ***Формирование официального плана действия***

На этой стадии карьеры социальных проблем формируется решение общества относительно того, как действовать в отношении данной проблемы. Данная стадия включает в себя составление официального плана действий так, как это происходит в парламентских комитетах, законодательных палатах и исполнительных органах. Официальный план почти всегда является результатом согласования различных взглядов и интересов. Компромиссы, уступки, сделки, подчинение влиянию, реакция на власть и обсуждение того, что может быть осуществлено, – все это оказывает влияние на конечную формулировку. Это процесс определения и переопределения в концентрированной форме, который включает в себя формирование, переработку и исправление коллективного образа социальной проблемы, вследствие чего результат может в значительной степени отличаться от того, как представлялась проблема на ранней стадии своей карьеры. Предписанный официальный план сам по себе составляет официальное определение проблемы; он представляет то, каким образом общество воспринимает проблему посредством своего официального аппарата, и как оно намерено действовать в отношении проблемы. Подобные замечания тривиальны, тем не менее, они указывают на ход процесса определения, который имеет реальное значение для судьбы проблемы. Разумеется, эффективное исследование социальных проблем должно включать в себя изучение того, что происходит с проблемой в ходе этого определения официального действия.

### ***Осуществление официального плана***

Предполагать, что официальный план и его осуществление на практике суть одно и то же, значит не считаться с фактами. На практике в ходе своего воплощения этот план всегда в некоторой (часто – в значительной) степени модифицируется, переформулируется, причем иногда непредвиденным образом. Этого и следует ожидать. Осуществление плана возмещает начало нового процесса коллективного определения. Оно закладывает основы формирования новых линий действия со стороны тех, кто вовлечен в проблему, и тех, кого затронул этот план. Люди, которым угрожает опасность утраты существующих преимуществ, стараются ограничить данный план или направить его в другую сторону. Те же, кто выигрывает в результате осуществления этого плана, могут стремиться использовать новые возможности. Еще один вариант заключается в том, что обе группы могут вырабатывать новые, не предусмотренные планом компромиссные соглашения. Административный персонал склонен подменять своей политикой политику официальную, лежащую в основании плана. Часто разрабатываются различного рода секретные приемы, которые оставляют незатронутыми центральные области социальной проблемы или трансформируют другие области таким способом, который никогда не предполагался официально. Такого рода приемами, блокировками, непредусмотренными дополнениями и непреднамеренными трансформациями, о которых я говорю, изобиловали многие попытки осуществления официальных планов на практике. Подобные следствия бросались в глаза при осуществлении семнадцатой поправки [к Конституции США, то есть “сухого закона”]. Они заметны в случае с органами социального контроля в нашей стране. Они должны просматриваться в случае с большинством новых программ осуществления законов, предназначенных бороться с проблемой преступности. Я не вижу более важного, менее понятного и менее исследованного аспекта общей области социальных проблем, чем аспект непредвиденной и непреднамеренной перестройки области социальной проблемы, происходящей при осуществлении официального плана действия. Я не могу понять, почему исследователи социальных проблем (как в своих исследованиях, так и при построении своих теорий) позволяют себе игнорировать эту решающую стадию в существовании социальных проблем.

\* \* \*

Я надеюсь, что мое различение этих пяти стадий в карьере социальных проблем показывает необходимость развития новых перспектив и подходов в социологическом исследовании социальных проблем. Размещение социальных проблем в контексте процесса коллективного определения представляется мне совершенно необходимым. Именно этот процесс детерминирует признание существования проблемы и необходимости ее рассмотрения; он определяет и то, каким образом она должна рассматривать

ся, что должно быть сделано, и как она перестраивается при попытках контроля над ней. Социальные проблемы обретают свое существование, свое развитие и свою судьбу в этом процессе. Игнорирование этого процесса может вести к получению лишь фрагментарного знания и мнимой картины социальных проблем.

Мои рассуждения не следует толковать как отрицание значения традиционного подхода социологов к теме социальных проблем. Знание объективной составляющей социальных проблем (что является целью этого подхода) необходимо для устранения неведения или неверной информации относительно этой составляющей. Тем не менее, такое знание является крайне неадекватным как в отношении действий, так и в отношении развития социологической теории. Относительно действий знание объективной составляющей социальной проблемы имеет значение только в той степени, в какой оно участвует в процессе коллективного определения, определяющем судьбу социальной проблемы. В этом процессе такое знание может игнорироваться, искажаться или подавляться другими соображениями. Не требует доказательств, на мой взгляд, и то, что социологи, стремящиеся к улучшению условий с помощью своих исследований, должны более тщательно исследовать и более адекватно понимать процесс коллективного определения, посредством которого происходят изменения. С точки зрения социологической теории, знание объективной составляющей социальных проблем в сущности бесполезно. Оно бесполезно потому, что, как я пытался показать, социальные проблемы относятся не к объективным областям, на которые они лишь указывают, а к процессу их рассмотрения и определения в обществе. Все эмпирические данные, которые я мог найти, несомненно ведут к этому заключению. Я бы приветствовал любые данные, противоречащие ему. Социологи, которые стремятся разрабатывать теорию социальных проблем и при этом исходят из посылки, что социальные проблемы свойственны некоторого рода объективной социальной структуре, неправильно понимают мир. Относить социальные проблемы к предполагаемым структурным напряжениям, нарушениям равновесия социальной системы, дисфункциям, распаду социальных норм, конфликту социальных ценностей или отклонению от социального конформизма означает невольное перенесение в область предполагаемой социальной структуры того, что является частью процесса коллективного определения. Как я уже говорил, ни одно из этих понятий не способно объяснить, почему одни эмпирические примеры, охватываемые этими понятиями, становятся социальными проблемами, а другие – нет. Это объяснение следует искать в процессе коллективного определения. Если социологическая теория стремится быть обоснованной в своем знании эмпирического мира социальных проблем, она должна обращать внимание на природу этого мира и считаться с ней.



*Малькольм Спектор и Джон Китсьюз*  
**Конструирование социальных проблем<sup>1</sup>**

В социологии нет адекватного определения социальных проблем, как нет и никогда не было социологии социальных проблем. Это замечание – отправной пункт данной работы. (...)

Центральным для нашей переформулировки социологии социальных проблем является различие того, что мы будем называть *объективным условием*, и определения этого условия как социальной проблемы. Мы будем говорить о том, что если первое в течение долгого времени составляло основу исследования широкого круга социальных феноменов, то последнее представляет собой предмет социологии социальных проблем – предмет, который почти полностью игнорировался и не исследовался. (...)

Наша цель заключается в конструировании определения, поддающегося эмпирической разработке, в которой центральное значение имел бы процесс определения, а не «объективные условия». (...)

Определения социальных проблем производятся теми, кто отстаивает свое понимание социальных условий и действует в соответствии с ним. Вместо того, чтобы абстрактно говорить об «обществе», мы предпочитаем определять те конкретные организации, группы или тех индивидов, которые занимают какие-либо позиции и предлагают конкретные определения социальных проблем. (...)

Один из способов приступить к исследованию определений социальных проблем заключается в рассмотрении словарей, которые используются для описания и классификации условия. Определения социальных проблем выражаются в терминах, которые описывают условие, отражают установки в отношении этого условия и дают другие многочисленные указания на то, каким образом это условие рассматривается как неприемлемое или проблематичное. Группы часто соперничают в борьбе за контроль над определением проблемы. Когда какая-либо группа побеждает, ее словарь может быть принят и институционализирован, тогда как понятия оппозиционных групп предаются забвению. Изменение терминологии, создание новых терминов или наполнение существующих терминов новым смыслом – сигнал того, что произошло нечто важное в отношении карьеры или истории социальной проблемы. (...)

Наша точка зрения является отчасти реакцией на функционалистскую теорию социальных проблем, а также расширением и развитием подхода ценностного конфликта... Наше изложение представляет собой попытку

---

<sup>1</sup> Перевод И.Г.Ясавеева по: Spector, M., Kitsuse, J.I. *Constructing Social Problems*, Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 1987, pp.1-8, 73-79, 142.

объяснить этот тип аргументации и, в частности, то, какого рода формулировка предполагается утверждением, что «социальные проблемы – это то, что люди считают социальными проблемами».

Наша первая задача состоит в том, чтобы определить предмет социологии социальных проблем. В прошлом термин *социальная проблема* воспринимался как предмет исследования в рамках концепций социальной патологии, дезорганизации, девиантного поведения, ценностного конфликта и «наклеивания ярлыков»<sup>1</sup>. Указание на социальную проблему как на индикатор социальной патологии, или наоборот, – это всего лишь применение двух терминов к одному и тому же предмету. Если проституция, например, классифицируется как социальная патология и считается также социальной проблемой, применение второго термина никоим образом не способствует нашему пониманию проституции. Существует ли особый предмет для исследования социальных проблем?

Представление о том, что социальные проблемы представляют собой вид *условия* (condition), должно быть заменено пониманием социальных проблем как вида *деятельности*. (...)

Мы считаем, что всякое определение социальных проблем, которое начинается словами: «социальные проблемы – это те условия...», ведет в концептуальный и методологический тупик, срывающий попытки построить специализированную область исследования. Вопрос, в таком случае, заключается в следующем: если социальные проблемы не могут быть условиями, тогда что такое социальная проблема? В наиболее кратком изложении социальная проблема – это деятельность тех, кто утверждает, что условие существует, и определяет его как проблему. (...)

Наше определение социальных проблем сосредоточивается на процессе, посредством которого члены общества определяют предполагаемое (putative) условие как социальную проблему. Таким образом, мы определяем социальные проблемы как *деятельность индивидов или групп, выражающих недовольство и выдвигающих утверждения требовательного характера относительно некоторых предполагаемых условий*. Возникновение социальной проблемы зависит от организации деятельности по выдвижению требований искоренения, улучшения или какого-либо другого изменения некоторого условия. *Центральной проблемой для теории социальных проблем является объяснение возникновения, характера и поддержания деятельности по выдвижению утверждений-требований*<sup>2</sup> (*claims-making*

---

<sup>1</sup> Rubington, Earl, and Weinberg, Martin S., *The Study of Social Problems*. New York: Oxford University Press, 1971.

<sup>2</sup> Английское слово *claim* используется в данном контексте не просто в значении “утверждение”, а в значении “утверждение требовательного характера” или “утверждение-требование”: конструируя социальные проблемы, члены общества *утверждают*, что существует вредное социальное условие, и *требуют* его устранения или изменения. – Прим. переводчика.

*activity*) и ответной деятельности. Такая теория должна обращаться к деятельности всякой группы, требующей от других улучшения, материальной компенсации, возмещения социального, политического, правового или экономического ущерба.

Прокомментируем кратко слово *предполагаемое* в приведенном выше определении... Мы используем это слово для того, чтобы подчеркнуть, что для нас всякое данное утверждение-требование или недовольство (complaint) выдвигается или выражается в отношении условия, *предположительно* существующего, а не в отношении условия, существование которого мы, как социологи, хотели бы верифицировать или удостоверить. То есть, сосредоточиваясь на процессе выдвижения утверждений-требований, мы оставляем в стороне вопрос о том, являются эти утверждения верными или ошибочными. (...)

Мы заинтересованы в построении теории деятельности по выдвижению утверждений-требований, а не теории условий. Таким образом, значение объективных условий для нас заключается в *утверждениях о них*, а не в обоснованности этих утверждений, определяемой с некоторой независимой точки зрения, каковой является, например, точка зрения ученого. Для предохранения от тенденции “соскользнуть” назад, к анализу условия, мы утверждаем, что даже существование самого условия не имеет отношения к нашему анализу и находится вне его. Мы не касаемся того, существует или нет предполагаемое условие. (...)

Деятельность по выдвижению претензий, недовольства или требований изменения составляет сущность того, что мы называем социально-проблемной деятельностью. Определения условий как социальных проблем конструируются членами общества, которые пытаются привлечь внимание к ситуациям, находимым ими невыносимыми (repugnant), и которые стараются мобилизовать существующие институты для того, чтобы сделать что-нибудь в отношении этих ситуаций. (...)

Выдвижение утверждений-требований всегда есть форма взаимодействия: требование одной стороны от другой, чтобы что-то было сделано в отношении некоторого предполагаемого условия. (...)

Выдвижение утверждений-требований включает в себя ответы на вопросы анкет, подачу жалоб, предъявление судебных исков, созыв пресс-конференций, написание писем протеста, принятие резолюций, выступления с публичными разоблачениями, публикацию в газетах заявлений, поддерживающих некоторые правительственные действия или оппозиционных по отношению к ним, проведение пикетов и бойкотов. (...)

Мы хотели бы также предложить свою концепцию исторических стадий социальных проблем... С самого начала следует уточнить, что эта концепция имеет *гипотетический* характер: мы не утверждаем, что она представляет собой эмпирически обоснованное обобщенное описание значительного числа отдельных социальных проблем. Данная концепция очерчивает то, на

чем, на наш взгляд, необходимо сосредоточиваться при изучении истории социальных проблем. Она предлагает исследователям социальных проблем своего рода предварительное руководство для накопления первоначального эмпирического материала... Наша концепция исторических стадий отличается от предшествующих (концепций Р.Фуллера и Р.Майерса<sup>1</sup>, Г.Блумера<sup>2</sup>) тем, что она касается судьбы социальных проблем после какой-либо официальной или правительственной реакции. Наши предшественники утверждали, что официальная реакция или осуществление той или иной политики представляет собой конечную стадию проблемы. В результате решение социальных проблем оставалось за рамками анализа. Или предполагалось, что проблема “решается” тогда, когда появляется реакция официальных органов... Ни Г.Блумер, ни Р.Фуллер и Р.Майерс не описывают, что происходит после того, как принимаются законодательные акты, создаются специальные органы и осуществляются те или иные программы. Когда на самом деле социальная проблема прекращает свое существование? Мы пытаемся ответить на этот вопрос, предлагая свою концепцию четырех стадий, при этом стадия 2 соответствует последней стадии концепций Блумера, Фуллера и Майерса. Стадии 3 и 4 описывают то, что происходит с социальной проблемой после определения и осуществления официальной политики. Они представляют собой своего рода “второе поколение” социальной проблемы, когда решения предшествующих проблем (реакции на предшествующие требования) становятся основой для новых утверждений и требований.

*Стадия 1.* Группа (или группы) пытается утверждать, что некоторое условие существует, определяет его как оскорбительное, вредное, нежелательное, предаёт эти утверждения гласности, инициирует обсуждение, делает это условие предметом общественного и политического внимания.

*Стадия 2.* Признание легитимности этой группы некоторой официальной организацией или институтом. Это может привести к официальному расследованию, предложениям реформ, созданию организации с целью отреагировать на эти утверждения-требования.

*Стадия 3.* Повторное выдвижение утверждений-требований первоначальной группой (или другими группами), выражающее неудовлетворенность установленным порядком ведения дел относительно данного условия, бюрократическим обращением с утверждениями-требованиями, неспособностью создать условия сотрудничества и доверия в рамках этого порядка и бездушным отношением к утверждениям-требованиям.

*Стадия 4.* Отказ группы, выдвигающей утверждения-требования, от деятельности официальной организации или института или отсутствие официальной реакции и разворачивание деятельности по созданию альтернативных, параллельных или противодействующих институтов. (...)

---

<sup>1</sup> Fuller, R.C., Myers, R.R., ‘The Natural History of a Social Problem’, *American Sociological Review*, Vol. 6, 1941, pp. 320–328.

<sup>2</sup> Blumer, H., ‘Social Problems as Collective Behavior’, *Social Problems*, Vol. 18, 1971, pp.298–306.

Джоел Бест

## Конструкционистский подход к исследованию социальных проблем<sup>1</sup>

Конструкционистский подход к исследованию социальных проблем появился в результате неудовлетворенности некоторых социологов господствующим объективистским подходом. Конструкционисты утверждали, что определение социальных проблем с точки зрения объективных условий в обществе страдает двумя основными недостатками: 1) при таком подходе игнорируется тот факт, что для определения социального условия как социальной проблемы необходимо субъективное суждение, и 2) наклеивая на условия, имеющие между собой мало общего, ярлык социальных проблем, объективизм не может служить основанием общих теорий социальных проблем.

Конструкционисты в отличие от приверженцев объективистского подхода определяют социальные проблемы с точки зрения выдвижения утверждений-требований<sup>2</sup> (*claims-making*); они сосредотачиваются на субъективных суждениях (утверждениях, что “X” является социальной проблемой), то есть на том, что игнорировалось объективистами<sup>3</sup>... Конструкционистский подход к социальным проблемам связан с новейшими интеллектуальными течениями в других дисциплинах: философии, антропологии, исследованиях коммуникации, литературоведении и политической науке. Для всех этих по-разному называемых течений (семиотика, символическая антропология, деконструкционизм или конструкционизм) характерно общее стремление к пониманию того, каким образом люди наделяют смыслом свой мир. Полезным может быть сравнение исследований конструиру-

---

<sup>1</sup> Перевод И.Г. Ясавеева по: Best, J. (ed.) *Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems*, New York: Aldine de Gruyter, 1989, pp.243–251.

<sup>2</sup> Объяснение такого перевода на русский язык англ. *claim* см. в одном из подстрочных примечаний к предыдущему отрывку.

<sup>3</sup> Среди теоретических работ, оказавших наибольшее влияние на развитие конструкционистского подхода, необходимо назвать следующие исследования: «Конструирование социальных проблем» Малькольма Спектора и Джона Китсьюза (Spector, M., Kitsuse J.I. *Constructing Social Problems*, Menlo Park, CA: Cummings, 1977), а также более раннюю статью Герберта Блумера «Социальные проблемы как коллективное поведение» (Blumer, H. ‘Social Problems as Collective Behavior’ in *Social Problems*, vol. 18, 1971, pp. 298–306). Среди других значительных работ в этой области следует выделить сборник конструкционистских статей под редакцией Иосифа Шнейдера и Джона Китсьюза (Schneider, J.W., Kitsuse J.I. (eds.) *Studies in the Sociology of Social Problems*, Norwood, NJ: Albex, 1984) и статью Иосифа Шнейдера, содержащую обзор многих ранних кейс-стади (Schneider, J.W. ‘Social Problems Theory: The Constructionist View’, in *Annual Review of Sociology*, vol. 11, 1985, pp. 209–229).

вания социальных проблем с работами в области политической науки<sup>1</sup>, антропологии<sup>2</sup> и исследований популярной культуры<sup>3</sup>. Следует отметить также, что конструкционистский подход закладывает основу развития новых теорий о природе утверждений-требований, о тех, кто выдвигает эти утверждения-требования (claims-makers), о циклах выдвижения утверждений-требований, о формировании социальной политики и т.д.

Конструкционистский подход является относительно новым и вызывает оживленную полемику. Критики атакуют конструкционизм с различных сторон: одни либо защищают объективизм, критикуя позицию конструкционизма, либо утверждают, что объективизм и конструкционизм легко могут быть согласованы друг с другом; другие же предупреждают, что конструкционизму свойственна непоследовательность, и что его теоретические допущения противоречивы. В то же время даже между социологами, относящими себя к конструкционистской традиции, существуют разногласия относительно того, какого рода анализ должен называться конструкционистским. (...)

### ***Критика конструкционизма извне***

Конструкционизм драматически порывает с традиционным объективистским подходом к исследованию социальных проблем. Даже сам термин “социальная проблема” используется конструкционистами в ином смысле по сравнению с объективистским пониманием этого термина. Тем не менее, некоторые социологи, сохраняющие свою приверженность объективистскому подходу, отрицают то, что конструкционизм представляет собой принципиально иной подход. Они утверждают, что объективизм и субъективизм – это всего лишь “две стороны одной медали”, и что эти теоретические перспективы легко могут быть согласованы.

Чаще всего при попытках свести на нет различия между объективизмом и конструкционизмом последний признается только на словах. Например, содержащиеся во многих учебниках определения социальных проблем упоминают роль субъективных суждений в идентификации проблемы, но в ходе дальнейшего изложения материала конструкционистские вопросы остаются без внимания. Такие трактовки связаны с непониманием природы конструкционизма, предполагающего нечто большее, нежели признание субъективности определений социальных проблем. Определяя социальные проблемы с точки зрения выдвижения утверждений-требований, конструкционисты устанавливают новую “повестку дня” в изучении социальных проблем; исследования сторонников этого подхода обращены к иным вопросам – о природе утверждений-требований, о том,

---

<sup>1</sup> Murray, E. *Constructing the Political Spectacle*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.

<sup>2</sup> Geertz, C. *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

<sup>3</sup> Radway, J.A., *Reading the Romance*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984.

кто выдвигает утверждения-требования и т.д. Так, традиционный объективистский подход к бездомности может сосредотачиваться на определении численности бездомных, выяснении, почему люди становятся бездомными или на каком-либо ином исследовании бездомности как социального условия. Конструкционистский же анализ сосредотачивается на том, чьи утверждения-требования делают бездомность предметом общественного внимания, как эти утверждения-требования представляют бездомных, как общественность и политики реагируют на эти утверждения-требования и т.д. Поскольку эти два подхода определяют социальные проблемы по-разному и сосредотачиваются на различных вопросах, согласовать объективизм и конструкционизм в рамках единой, интегрированной теории далеко не просто.

Другие критики-объективисты признают, что конструкционизм действительно представляет собой уникальный подход – подход, который они не одобряют. Эти критики утверждают, что сосредоточенность на утверждениях-требованиях игнорирует гораздо более важный предмет – вредные социальные условия, которые являются “реальными” социальными проблемами. Конструкционизм дает следующие два ответа таким критикам: 1) нет ничего плохого в том, чтобы заниматься исследованием социальных условий, но осуществлявшиеся в течение десятилетий объективистские исследования социальных условий так и не смогли заложить основу общих теорий социальных проблем; 2) важно помнить, что мы признаем социальные условия “действительно” вредными только потому, что кто-то преуспел в выдвигании убедительного утверждения-требования. Необходимо повторить еще раз: объективизм и субъективизм задают разные вопросы, и относительная ценность этих наборов вопросов зависит от того, что мы хотим узнать.

Однако наиболее влиятельная критика конструкционизма была представлена не объективистами, а двумя социологами, стоящими на субъективистской позиции. Стив Вулгар и Дороти Полач<sup>1</sup> заявляют, что конструкционисты основываются в своем анализе на скрытых объективистских допущениях. Они утверждают, что конструкционизм непоследователен. Конструкционисты подчеркивают свою сосредоточенность на субъективных суждениях или утверждениях-требованиях, тогда как такой анализ обычно предполагает знание объективных социальных условий. Так, стандартное конструкционистское объяснение может выглядеть следующим образом: хотя социальное условие “X” осталось неизменным, “X” стало определяться как социальная проблема только тогда, когда люди начали выдвигать утверждения-требования относительно этого условия. Вулгар и Полач указывают на то часто не высказываемое допущение, что социальное условие “X” не изменилось. Конструкционисты считают надлежащим предметом

---

<sup>1</sup> См.: Woolgar, S., Pawluch D. ‘Ontological Gerrymandering: The Anatomy of Social Problem Explanations’, in *Social Problems*, vol. 32, 1985, pp. 214–217.

анализа социальных проблем утверждения-требования относительно *предполагаемых* условий, подразумевая, что характер социальных условий является в данном случае несущественным (и возможно непознаваемым); однако при этом обычно предполагается, что они знают реальное состояние социального условия (в данном примере как неизменного феномена). Согласно Вулгару и Полачу, это противоречие связано с самой сущностью конструкционизма: «Успех [конструкционистского] объяснения социальных проблем зависит от проблематизации подлинного статуса определенного положения вещей и одновременного игнорирования ... того, что с теми же проблемами связаны допущения, на которых основывается этот анализ»<sup>1</sup>. Вулгар и Полач называют это избирательное внимание к объективным условиям «онтологическими подтасовками».

### ***Полемика в рамках конструкционизма***

Критика Вулгара и Полача вызвала в среде конструкционистов оживленную полемику<sup>2</sup>. Предметом обсуждения стали аналитические допущения, лежащие в основании этого подхода. Какие допущения относительно объективного социального мира свойственны этому подходу? Следует ли избегать всех допущений такого рода, или некоторые из них вполне приемлемы? Каковы последствия использования различных допущений? Конструкционисты по-разному отвечали на эти вопросы.

На одном полюсе находятся те, кого можно назвать *строгими конструкционистами*. Они утверждают, что при анализе социальных проблем следует избегать каких-либо допущений об объективной реальности. Согласно их точке зрения, конструкционисты должны изучать взгляды тех, кто выдвигает утверждения-требования, определяет политику, а также взгляды других членов общества. Реальные социальные условия не имеют значения; значение имеет только то, что говорят члены общества об этих условиях. Строгие конструкционисты сосредоточиваются на выдвигании утверждений-требований; предполагается, что они не оценивают верность утверждений-требований.

Вследствие того, что строгие конструкционисты принимают феноменологическую точку зрения, они, по существу, оспаривают способность аналитика выносить суждения относительно социальных условий. Феноменологическая социология утверждает, что наше знание о мире является

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>2</sup> См.: Gusfield, J.R. 'Theories and Hobgoblins', in *SSSP Newsletter* 17, Fall 1985, 16–18; Hazelrigg, L.E. 'Were It Is Not for Words', in *Social Problems*, vol. 32, 1985, pp. 234–237; Hazelrigg, L.E. 'Is There a Choice Between "Constructionism" and "Objectivism"?' in *Social Problems*, vol. 33 (October/December), 1986, pp. 1–13; Pfohl, S. 'Toward a Sociological Deconstruction of Social Problems', in *Social Problems*, vol. 32, 1985, pp. 228–232; Schneider, J. 'Defining the Definitional Perspective on Social Problems', in *Social Problems*, vol. 32, 1985, pp. 232–234; Woolgar, S., Pawluch D. 'How Shall We Move Beyond Constructivism?' in *Social Problems*, vol. 33, 1985, pp. 159–162.



социальной конструкцией. Это относится не только к выдвигаемым членами общества утверждениям-требованиям в отношении социальных вопросов, но также и к самому конструкционистскому анализу утверждений-требований. С этой точки зрения, социолог не обладает какой-либо привилегией; он всего лишь один из тех, кто стремится понять окружающий мир. Утверждая что-либо о социальных условиях, он становится еще одним участником процесса выдвижения утверждений-требований. Строгие конструкционисты, следовательно, не интересуются согласованием конструкционистских и объективистских теорий, поскольку считают предметом исследования социальных проблем утверждения-требования, выдвигаемые членами общества, а не валидность этих утверждений. С другой стороны, строгие конструкционисты ставят в несомненную заслугу Вулгару и Полач их критику и стремятся избегать любых (даже скрытых) допущений об объективной реальности.

На другом полюсе находятся те социологи, которые считают конструкционизм синонимом *фальсифицирования* (debunking). С конструкционистской точки зрения, основное различие проводится между социальными условиями и утверждениями-требованиями относительно этих условий; утверждения-требования выдвигаются относительно предполагаемых условий, которые могут существовать, а могут и не существовать. Социологи, желающие указать на ошибочные или неверные утверждения-требования, время от времени описывают их как “социально конструируемые”. Эта трактовка приравнивает социальную конструкцию к ошибке и игнорирует то, что все утверждения-требования (равно как и любое другое знание вообще) социально конструируются. Фальсифицирование предполагает, что аналитик знает подлинную природу объективной реальности. Это наиболее грубая форма конструкционизма. В сущности, строгие конструкционисты сказали бы, что фальсифицирование не следует считать формой конструкционизма, это – объективистская социология, поскольку сосредоточивается на реальной природе социальных условий, а не на процессе выдвижения утверждений-требований.

Существует ли нечто среднее между феноменологической и фальсификационной версиями конструкционизма? Представляется, что первая ограничивает аналитика, который должен избегать любых допущений о социальных условиях, тогда как вторая утрачивает видение утверждений-требований как фокуса анализа социальных проблем.

Фактически множество (возможно большинство) конструкционистских исследований, как представляется, осуществляется между этими полюсами, соответствуя тому, что может быть названо *контекстуальным конструкционизмом*<sup>1</sup>. Контекстуальные конструкционисты сохраняют сосредо

---

<sup>1</sup> Раскол между строгим и контекстуальным конструкционизмом замечен даже в основополагающих теоретических работах этого направления. Так, М.Спектор и Дж.Китсьюз занимают строго конструкционистскую позицию, тогда как Г.Блумер и

точность на процессе выдвижения утверждений-требований и, тем не менее, признают возможным существование некоторых допущений о социальных условиях – именно тех, против которых выступали Вулгар и Полач. Однако контекстуальные аналитики утверждают, что такие допущения позволяют разместить утверждения-требования в их социальном контексте. При исследовании ряда вопросов этот контекст может не играть особой роли: изучение риторики утверждений-требований не связано с необходимостью рассмотрения верности утверждений-требований или реальной природы социальных условий, относительно которых выдвигаются утверждения-требования. Тем не менее, знание социальных условий может помочь объяснить, почему возникают определенные утверждения-требования.

Предположим, мы исследуем кампанию против “растущей уличной преступности”. Чем могут объясняться эти утверждения-требования? Строгий конструкционист может отметить, что те, кто выдвигает утверждения-требования, ссылаются на более высокий уровень преступности или растущее чувство страха. Однако он будет рассматривать эти ссылки как часть утверждений-требований, не делая каких-либо допущений о том, что уровень преступности или страх перед преступностью действительно возросли. Контекстуальный конструкционист, напротив, может принять во внимание данные официальной статистики или обследований, измеряющих страх перед преступностью, даже если те, кто выдвигал утверждения-требования, никогда не обращались к статистике или обследованиям. Предположим, например, что те, кто выдвигает утверждения-требования, начинают кампанию против растущей преступности тогда, когда уровень преступности не повышается. Контекстуальный конструкционист может отметить это расхождение между утверждениями-требованиями и другой информацией о социальных условиях.

В этом заключается ключевое различие между строгими и контекстуальными конструкционистами. Очевидно, всякое утверждение о социальных условиях является социальной конструкцией. Утверждение-требование, согласно которому преступность (или страх перед преступностью) растет, является всего лишь утверждением-требованием. Но использование названия “утверждение-требование” по отношению к высказыванию не дискредитирует его. Контекстуальные конструкционисты утверждают, что всякое утверждение-требование можно оценить. Эта оценка может быть основана на различного рода данных, таких, как данные официальной криминальной статистики или опросов общественного мнения, которые в свою очередь являются социальными конструкциями – продуктами организационной практики департаментов полиции, служб, проводящих опросы общественного мнения, и т.д. Строгие конструкционисты час

---

Дж.Гасфилд проявляют контекстуально конструкционистскую готовность делать допущения относительно объективных социальных условий.

то утверждают, что нельзя объяснять один набор утверждений-требований (например, утверждения-требования относительно “уличной преступности”) другим (например, статистическими данными о росте преступности). Однако контекстуальные конструкционисты допускают с разумной долей уверенности, что они могут обладать знанием социальных условий. Они признают социально конструируемую природу уровней преступности и другой информации о социальных условиях, но допускают, что такая информация может быть использована для описания (пусть несовершенно) того контекста, в котором происходит выдвижение утверждений-требований.

С точки зрения строгих конструкционистов, подобные допущения ведут аналитика к объективизму. Они отмечают, что аналитик не может оценивать утверждения-требования, не предполагая, что он знает больше, чем тот, кто их выдвигает. Строгие конструкционисты подвергают сомнению основания такого предположения. Если все знание социально сконструировано, то каким образом контекстуальный аналитик может заявлять об особом понимании социальных условий, понимании более высокого порядка?

Контекстуальные конструкционисты по-разному используют знание социальных условий. В дополнение к использованию социальных условий для объяснения возникновения утверждений-требований аналитик может обращаться к социальным условиям при объяснении того, почему некоторые утверждения-требования привлекают внимание или способствуют изменению социальной политики. Противопоставление утверждений-требований информации о социальных условиях, описываемых этими требованиями, может показать, что тот, кто выдвигает утверждения-требования, использует драматические, нетипичные примеры или завышенную статистику.

Контекстуальный конструкционизм представлен в нескольких главах этой книги [*Images of Issues*], характеризующих утверждения-требования как неточные, искаженные или преувеличенные. Так, выдвигающие утверждения-требования используют, на мой взгляд, завышенную статистику в отношении числа детей, ставших жертвой похищения; Э.Альберт противопоставляет утверждения-требования относительно драматического роста передаваемого гетеросексуальным путем СПИДа официальным данным, отмечающими незначительное изменение доли гомосексуалов и наркоманов в недавних случаях заболеваний СПИДом; Ш.Скричфилд использует статистику рождаемости для дискредитации утверждений-требований об эпидемии бесплодия; К.Рейнерман и Г.Левин утверждают, что опросы, показывающие незначительное изменение в масштабах наркомании, ставят под сомнение утверждения-требования относительно быстро расширяющегося употребления кокаина. В этих главах (так же как и в других) для оценки утверждений-требований используется официальная статистика —

один из наиболее распространенных способов, с помощью которых контекстуальные конструкционисты включают знание социальных условий в свою аргументацию.

Следует отметить, что исследователи могут обращаться с официальной статистикой различным образом. Приверженцы фальсификационной версии конструкционизма, например, полагают, что официальные данные точно представляют реальность – подход, который кажется в большей степени объективистским, чем конструкционистским. Контекстуальный конструкционист рассматривает официальную статистику как социальную конструкцию и больше склонен задаваться вопросом, почему тот, кто выдвигает утверждения-требования, ее игнорирует. Почему, когда федеральные обследования не обнаруживают роста наркомании, федеральные органы предпринимают кампанию против крэк-эпидемии? В данном случае аналитик использует официальную статистику не для описания реальных социальных условий, а для оценки голосов тех, кто выдвигает утверждения-требования. Действительно ли лица, разворачивающие кампанию против крэка, не знают об обследованиях наркомании, или они предпочитают игнорировать данные обследований – и если так, то почему? Отношение к официальной статистике как к точным показателям социальных условий может вывести исследователя за рамки конструкционистской традиции, тогда как ошибка в рассмотрении официальной статистики как разновидности утверждений-требований сама по себе менее очевидна.

На практике исследователь часто не может избежать некоторых (иногда неявных) утверждений о социальных условиях: эти утверждения-требования были выдвинуты такими-то людьми; такие-то люди имели такие-то интересы; изменения в обществе сделали людей более (или менее) восприимчивыми к этим утверждениям-требованиям и т.д. (...)

Строгий конструкционизм выступает за своего рода аналитическую чистоту, когда аналитик не делает предположений о реальных социальных условиях. Тем не менее, на практике скрытые допущения о социальных условиях, как представляется, играют определенную роль при любом анализе утверждений-требований. Это как раз то, от чего предостерегали Вулгар и Полач. Однако не ясно, возможен ли анализ, свободный от допущений об объективных условиях (что и является целью строгого конструкционизма). Контекстуальный конструкционист, вероятно, сказал бы, что позиция строгого конструкциониста ограничивает тот ряд вопросов, которые может задать исследователь.

### ***Использование конструкционистской перспективы***

Споры о теоретических основаниях конструкционизма могут вызвать впечатление, что это сухое, академическое направление (“башня из слоновой кости”), не имеющее практической ценности. Было бы нелепо закончить на этой ноте. Конструкционистский подход может быть полезен как

для того, кто претендует на выдвижение утверждений-требований, так и для тех, кто собирается исследовать социальные проблемы.

### ***Конструкционизм как руководство к выдвижению утверждений-требований***

Относительно небольшое число людей достигают национального признания в качестве выдвигающих утверждения-требования – их приглашают выступить перед парламентом, снимают для информационных журналов и интервьюируют для вечерних новостей. Но далеко не весь процесс выдвижения утверждений-требований происходит на национальной сцене. Утверждения-требования выдвигаются также в администрациях штатов и муниципалитетах, общинах и жилых кварталах, на рабочих местах и в университетских городках – везде, где люди пытаются привлечь внимание к условиям, вызывающим у них беспокойство.

Конструкционистские исследования могут преподать ценный урок тем, кто претендует на выдвижение утверждений-требований. Выдвигающие утверждения-требования сталкиваются с реальными препятствиями: они должны привлечь внимание, заручиться поддержкой и сформировать политику. Конструкционистские исследования показывают, как преодолевались эти препятствия теми, кто выдвигал утверждения-требования. В известном смысле конструкционистские кейс-стади (исследования отдельных случаев) указывают, что работает, а что не работает, и при каких обстоятельствах. Изучение данных социологического анализа успешного и безуспешного выдвижения утверждений-требований может помочь тем, кто собирается выдвигать утверждения-требования, спланировать их собственные кампании.

### ***Новые направления использования конструкционистского подхода***

Наряду с тем, что открытия, сделанные в ходе конструкционистских исследований, могут помочь в разработке новых кампаний по выдвижению утверждений-требований, наибольшую пользу конструкционизм может принести в качестве аналитического средства. Конструкционизм – это позиция, ориентация, перспектива, которую мы можем применять для того, чтобы достичь лучшего понимания окружающего нас мира.

Мы живем в мире, в котором выдвижение утверждений-требований стало обычным делом. Первая страница обычной утренней газеты может содержать три-четыре примера выдвижения утверждений-требований. Утверждения-требования занимают значительную часть материала, представляемого в информационных изданиях, программах, на парламентских заседаниях, в ток-шоу и т.д. Обычно эти утверждения-требования высвечивают новые аспекты привычных социальных проблем: так, например, происходит в случае с сообщением о том, что исследователи обнаружили

еще одно канцерогенное вещество. Реже те, кто выдвигает утверждения-требования, говорят об обнаружении совершенно новой проблемы.

В то время как современные утверждения-требования постоянно поставляются средствами массовой коммуникации, нетрудно отыскать и исторические примеры выдвижения утверждений-требований. В американской истории, например, заметное место занимают кампании за отмену рабства, избирательное право для женщин, трезвость и т.д. Хотя чаще эти кампании описываются как политические и социальные движения, очевидно, что они являются примерами выдвижения утверждений-требований.

В рамках конструкционистской перспективы могут изучаться как современные, так и исторические утверждения-требования<sup>1</sup>. Такое исследование предполагает сосредоточение на самих утверждениях-требованиях, на тех, кто их выдвигает, и на самом процессе выдвижения утверждений-требований.

*Утверждения-требования.* Первой задачей конструкционистского анализа является обнаружение случаев выдвижения утверждений-требований. Источники утверждений-требований варьируются в зависимости от того, каким образом и когда выдвигаются утверждения-требования, от полномочий тех, кто их выдвигает и т.д. Однако существует ряд следующих стандартных источников: 1) средства массовой коммуникации – пресса (газетные статьи и статьи информационных журналов), радио и телевидение (вечерние программы новостей и т.д.); 2) научные и научно-популярные книги и периодика; 3) популярные издания – статьи в специализированных журналах, ток-шоу и др.; 4) выступления в парламенте; 5) брошюры, листовки, тезисы и другие недолговечные материалы; 6) опросы общественного мнения; 7) интервью с теми, кто выдвигает утверждения-требования.

Иногда можно проследить изменение уровня интереса к социальной проблеме, измеряя частоту, с которой выдвигаются утверждения-требования определенного типа. ...Социологи часто используют указатели к сообщениям средств массовой коммуникации (например, «*Указатель периодической литературы*», «*Указатель статей Нью-Йорк Таймс*» или «*Указатель телевизионных новостей и резюме*») для измерения меняющегося уровня освещенности той или иной проблемы в средствах массовой коммуникации.

Определив набор утверждений-требований, можно приступить к анализу их содержания. Значимыми в данном случае являются следующие вопросы: что говорится о проблеме? как типизируется проблема? какова риторика выдвижения утверждений-требований, или как представляются утверждения-требования для того, чтобы убедить аудиторию?

---

<sup>1</sup> М.Спектор и Дж.Китсьюз вносят ряд практических предложений, которые могут использоваться исследователями социальных проблем.

*Индивиды и группы, выдвигающие утверждения-требования.* Еще одним объектом анализа являются те, кто выдвигает утверждения-требования. Для начала необходимо идентифицировать выдвигающих утверждения-требования. Кто в действительности выдвигает утверждения-требования? Кого, по их утверждению, они представляют (если кто-то за ними стоит)? Являются ли те, кто выдвигает утверждения-требования, лидерами или представителями определенных организаций, социальных движений, профессий или заинтересованных групп? С кем они связаны предшествующими контактами? Имеют ли они опыт в выдвижении утверждений-требований или являются новичками? Отражают ли они какую-либо определенную идеологию? С чем связаны их интересы – с вопросами, которые они поднимают, с политикой, которую они поддерживают, или с успехом кампании? Каким образом на утверждениях-требованиях отражается тот факт, что они выдвигаются именно этими людьми?

*Процесс выдвижения утверждений-требований.* Утверждения-требования вызывают различные реакции. Некоторые утверждения-требования игнорируются, те, кто их выдвигает, решают не продолжать кампанию, и вопрос быстро забывается. Время от времени выдвигающие утверждения-требования достигают значительного успеха: люди прислушиваются к их утверждениям-требованиям и быстро реагируют на них, принимая любую рекомендуемую ими политику. Чаще всего, конечно, успех кампаний бывает неоднородным, и только продолжительное выдвижение утверждений-требований может привести к каким-либо результатам; в другом случае выдвигающим утверждения-требования удастся организовать активное социальное движение, но они испытывают трудности в изменении социальной политики; в третьем – возникает необходимость в целом цикле кампаний, каждая из которых ведет к небольшим изменениям в политике. Очевидно, что процессы выдвижения утверждений-требований являются сложными, и для того, чтобы разобраться в них, необходимо провести значительный объем сравнительной исследовательской работы. В числе основных вопросов относительно любой кампании по выдвижению утверждений-требований могут быть следующие: к кому обращались те, кто выдвигал утверждения-требования? выдвигал ли кто-либо конкурирующие утверждения-требования? какие интересы связывала с этим вопросом аудитория, к которой обращались выдвигающие утверждения-требования, и как эти интересы определяли реакцию аудитории на утверждения-требования? как характер утверждений-требований или личность выдвигающих утверждения-требования влияли на реакцию аудитории?

При рассмотрении разнообразных вопросов, поставленных конструкционистами, важно сохранять сосредоточенность на выдвижении утверждений-требований, не отвлекаясь на социальные условия, относительно которых они выдвигаются. Это не означает, что условия не могут фигурировать в анализе (хотя строгий конструкционистский анализ требует, что

бы аналитик не ссылался на какое-либо специальное знание, касающееся этих условий). Разумеется, условия не должны занимать центральное место. Строгие конструкционисты могут задаваться вопросом, как условия воспринимаются теми, кто выдвигает утверждения-требования, или как они описываются ими. Контекстуальные конструкционисты могут также спросить, какова вероятность того, что выдвигающие утверждения-требования искажают или неточно описывают условия, или как утверждения-требования либо реакция на них объясняется условиями.

Таким образом, конструкционизм стал полезной, действенной исследовательской традицией – традицией, обещающей появление общих теорий социальных проблем. (...)

*Раймонд Михаловски*

### **(Де)конструкция, постмодернизм и социальные проблемы: факты, фикции и фантазии в условиях “конца истории”<sup>1</sup>**

Цель данной статьи – изучить значение *ритуальной (де)конструкции* в осмыслении социальных проблем, определить отношения между ритуальной (де)конструкцией и другими формами “социального конструкционизма”, рассмотреть значение ритуальной деконструкции в других подходах к исследованиям социальных проблем.

Социальный конструкционизм изучает социальные проблемы как определения, анализирует социолингвистические и другие репрезентативные ритуалы, которые создают такие определения. Рождение социального конструкционизма – это скорее результат попыток связать несопоставимые темы, обычно попадающие под заголовок “социальные проблемы” в целостное, последовательное поле для социологического изучения, нежели теория о человеческих проблемах.

В отличие от объективистских подходов, которые интересуются установлением “объективной” природы социальных проблем, измерением, подсчетом, классификацией с целью улучшения этих “объективных” социальных проблем, социальный конструкционизм фокусирует свое внимание на деятельности тех, кто выдвигает “утверждения-требования”. Социальный конструкционизм часто кажется нейтральным по отношению к поли

---

<sup>1</sup> Перевод Н.Николаевой по: Michalowski, R.J. ‘(De)Construction, Postmodernism, and Social Problems: Facts, Fictions, and Fantasies at the “End of History”’, in Miller, G., Holstein, J.A. (eds.) *Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory*, N.Y.: Aldine de Gruyter, 1993.



тическим и моральным условиям, поскольку он отказывается от онтологического приоритета “объективной реальности”.

Во всем этом есть некоторое противоречие, ибо такая критика “объективной реальности” приводит к более опосредованному участию в попытках улучшения условий, порождаемых структурами власти. В то же время более консервативные позитивистские подходы, относящиеся к проблемам как к “реальности”, могут порождать больше беспокойства и призывов к действию и социальному изменению. Они гораздо чаще приводят к социальным изменениям, чем конструкционистский подход, поскольку радикальные смыслы конструкционизма “погружены” в теоретически обоснованную невозможность стать частью процесса социальной борьбы, посвященной улучшению условий человеческой жизни.

### *Два метода деконструкции*

Ранние версии символического интеракционизма Дж.Мида и Г.Блумера положили начало развитию подходов “наклеивания ярлыков”/“социетальной реакции” и этнометодологии, имеющих тесное родство с социальным конструкционизмом. Совсем недавно течение символического интеракционизма, представленное в версиях о социальных проблемах и социальном конструкционизме, соединилось с другим широким теоретическим течением *деконструкции*. Это течение имеет два главных направления, каждое из которых порождает свою форму деконструкционизма.

Одна ветвь деконструкции представлена структурной лингвистикой Соссюра и семантической философией Деррида. Эта ветвь оказала сильное влияние на литературную критику (Барт, Джеймисон). Это так называемая *литературная деконструкция*, хотя ее влияние гораздо шире области литературы.

Другая форма деконструкции связана с постструктуралистскими работами Фуко и сюрреалистскими последователями дюркгеймовской традиции – Батаем и Бахтиным. Я называю эту версию *социальной деконструкцией*, так как она ссылается больше не на литературные тексты, а на устойчивые социальные ритуалы.

Литературная деконструкция направляет свои усилия на анализ литературных текстов, то есть декодирование данных текстов в литературные документы. Такой способ анализа – это продукт рационального/креативного разума, более привилегированного по сравнению с *поведением*. Другие формы представления, речь и ритуалы тела, играют очень небольшую роль в литературной деконструкции.

Социальная деконструкция, напротив, складывается из значений действующих тел. Эта сосредоточенность на теле свидетельствует о влиянии Фуко и Бахтина. Фуко представляет тело как локус контроля – контроля появления, движения, обоняния, удовольствия, формы, потребления – выраженного в речи и действии. Бахтин изучал карнавальные ритуалы осво

бождения, и особенно освобождения тела как в речи, так и в действиях. Он исследовал не способы проявления контроля власти над телом, а периодические ритуальные изменения телесного. В ритуалах празднования карнавалов проявляются временное освобождение от установленного порядка, приостановка действия всех иерархий, привилегий, норм и запретов. Социальная деконструкция признает телесность социального мира и пытается понять, как воплощенные в теле люди становятся местом проявления смысловых ритуалов власти. Литературная деконструкция сосредоточивается на текстах как на абстрактных продуктах “отсутствующего” разума, чье существование (на говоря уже о телесности) является почти ненужным.

Другое различие между литературной и социальной деконструкциями – в их взглядах на устойчивость и соизмеримость смысла. Литературная деконструкция, описанная Деррида, отрицает, что смысл любого текста может быть детерминирован через обращение к некоторой внешней системе утверждений (легализации). Очевидно, что устойчивость смысла обеспечивается только синтаксисом и грамматикой. Текстовое значение не может быть ни историческим, ни транс-историческим; оно всегда “обитает” в декодировании текста отдельными “читателями” и фиксируется в их собственном субъективном пространстве. У каждого текста столько же потенциальных значений, сколько и декодеров/“читателей”, и потому невозможно выявить в нем “истинный” смысл, заложенный автором и “действительное” значение, придаваемое ему любым читателем. Возможность “знать и открыть” *истину* ограничена рамками и структурой языка и различиями между авторами текстов и читателями. Литературная деконструкция полагает, что все социальные ритуалы – это немного больше, чем радикальный солипсизм, неверно истолкованный как общедоступная реальность. Литературная деконструкция отрицает любую возможность внешней валидности значения текста, текст может быть деконструирован только *относительно себя*. Цель деконструктивного дискурса – это обмен интерпретациями между “читателями”. Для литературных деконструкционистов тексты нерепрезентативны.

В области социологического анализа, следующего традиции литературной деконструкции, литературный текст заменяется социальным/поведенческим текстом. Социальные аналитики этого направления рассматривают значение поведения и ритуалов как нечто замкнутое на себе. Ритуалы могут иметь значения, которые доступны его участникам, но это значение находится не вне ритуала, а *только* внутри его. Однако при принятии большинства радикальных заключений литературной деконструкции проблематичным становится само существование культуры. Могут ли существовать коллективные ритуалы, связывающие отдельных людей в пределах общепринятых значений, если конструирование значений есть занятие субъективное и индивидуальное?

В отличие от этого направления, социальная деконструкция подходит к обществу как к интегрированному копированию ритуальных действий, а не как к аналогу текста. Общество есть нечто большее, нежели набор частных, субъективных значений. Значения связаны с историческими условиями, специфические и мощные репрезентативные практики рождаются и умирают вместе с историческими эпохами. Задача социальной деконструкции – показать современные и исторические *социальные* тексты в свете того, “что они не значат” (Гордон), то есть прочитать их в свете чего-то, отличного от здравого смысла.

### ***От литературной и социальной деконструкций к риторической и ритуальной (де)конструкциям***

Смыслы литературной и социальной деконструкции нашли применение в изучении социальных проблем, приведя к возникновению риторической и ритуальной деконструкций. Текст Ибарры и Китсьюза<sup>1</sup> – пример литературной/риторической деконструкции, а видеотекст «Криминологические замещения» (criminological displacements) – пример социальной деконструкции. Ритуальная деконструкция представляет более решительный вызов конструкционистскому подходу, так как существенно отходит от установленных логоцентрических методов социального конструкционизма.

Термин “*социальная конструкция*” способствует обращению к тому, что было сделано *теми, кто изучался*, то есть к тому, как нечто, написанное-о-чем-то (written-about), конструирует социальные проблемы. Термин “*социальная конструкция*” как один из методов изучения социальных проблем отодвигает автора социологической истории на задний план. На передний план деконструкция выдвигает то, что было сделано *теми, кто изучает*, и то, как они проверяют социальные тексты на новые значения.

В обоих случаях это является процессом анализа коммуникативных актов и открытия их глубинных и зачастую скрытых значений. С этой точки зрения (де)конструкцией является и социальная конструкция Спектора и Китсьюза, и риторический анализ Ибарры и Китсьюза. Все социально-конструкционистские тексты могут быть рассмотрены как (де)конструкция, так как они расчленяют социальные тексты как часть новых социологических рассказов.

#### *Риторическая (де)конструкция*

Ибарра и Китсьюз предлагают усовершенствовать конструкционистскую модель изучения социальных проблем с помощью “теории общепотребительных составляющих социальных проблем”. Цель этой теории есть установление более непроницаемого барьера между “общепотребительными ресурсами и аналитическими конструкциями”, чтобы

---

<sup>1</sup> Ibarra, P.R., Kitsuse, J.I., ‘Vernacular Constituents of Moral Discourse: An Interactionist Proposal for the Study of Social Problems’, in Miller, G., Holstein, J.A. (eds.), *Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory*, N.Y.: Aldine de Gruyter, 1993.

избежать “беспорядочного слияния мирских и теоретических перспектив”. Этот подход является производным от литературной деконструкции, поскольку:

- он в большей степени направлен на анализ вербальных текстов, чем на социальные свойства как ритуалы тела;
- он стремится оперировать текстом, анализируя его в значительной мере изнутри;
- он прежде всего заинтересован в определении лингвистических координат конструирования социальных проблем;
- в его рамках авторами относительно небольшое внимание уделяется их собственным лингвистическим конструкциям, которые также являются конструированием социальной проблемы.

Задача теории “общеупотребительных составляющих моральных дискурсов” – найти убедительное, рациональное содержание в обработанном, формально написанном тексте, так как эта теория (как и большинство социологических теорий) лингвистически обусловлена и логоцентрична.

#### Ритуальная (де)конструкция

В ноябре 1985 г. в Американской Криминологической Ассоциации в Сан-Диего Стефан Фол и Авери Гордон впервые показали «Криминологические замещения» полностью озадаченной научной аудитории. Текст видео позднее был опубликован как «Криминологические замещения: социологическая деконструкция».

Выбор показа видео – результат подхода к современному социальному миру, где возможности видеокamеры конструировать целостные визуальные образы представляются более широкими по сравнению с линейностью написанного слова. Фол и Гордон, бросая вызов логоцентричности практики социальных сцен, считают, что изучению социальных проблем в мире “постмодерна” лучше служат постмодернистские способы выражения, нежели буквальные и литературные способы модерна.

«Криминологические замещения» настаивают на том, что социологи признают свои желания (eros), не только контролируя так называемых девиантов, но и трансформируя их из “телесных человеческих животных” в двумерные описанные характеры (logos). Eros социальной науки должен быть возвращен в сознательную жизнь социальных ученых, считают деконструкционисты и подчеркивают чувственное качество человеческого опыта.

Основной механизм возвращения репрессированного эротического качества жизни – через визуальный коллаж культурного изображения контроля. Это не случайный беспорядок символической реальности, это ее переупорядочивание. Теория и метод деконструкции «Криминологических замещений» – символические связи, которые обычно находятся под спудом обыденного восприятия. При деконструкции происходит расчленение и устранение само собой разумеющихся символических ритуалов. Это по

стоянная смесь образа, слова, звука, которая разупорядочивает время и сочетает факты, чтобы достичь взрыва в сознании.

***Работают ли образы ритуальной (де)конструкции (и, если да, то как)?***

Переупорядочивание знакомых, популярных образов является центральным в практике ритуальных (де)конструктивистов. Желание такого переупорядочивания возникло на обломках тезисов ранних (начало XX в.) западных марксистов о существовании “доминирующей идеологии” в обществе. Эта концепция была сформулирована у Грамши как “ложное сознание”, позднее, у Альтюссера, – как необходимо представляемая реальность, и еще позднее, у Пулантаса, – как сознание жизненного опыта. В каждом случае так называемые массы конструировались не как жертвы контроля капиталистического аппарата коммуникации и культуры, а скорее как сотворцы идеологических конструкций, в рамках которых они проживают. Фуко предположил, что власть, формирующая образы, которые, в свою очередь, формируют сознание, не является чем-то вроде вещи или существа, она не может быть где-то зафиксирована и расположена, она циркулирует в обществе. Образы транслируются через миллиарды каналов повседневной жизни (реклама, коммунальное обслуживание, мультипликация, серьезная драма и т.д.), они утверждаются в нас через их поглощение и использование, через наше согласие с нормальностью власти, которая контролирует так называемых девиантов. Определение этой силы является центральной проблемой практики ритуальной деконструкции, и «Криминальные замещения» следуют этим путем.

Возмущение, которое часто чувствуют зрители, первый раз сталкивающиеся с продукцией деконструкционистов (такой, как «Криминалогические замещения»), достигается в некоторой степени провокацией внутренних эмоциональных противоречий в зрителе и затем, в нарушение правил катарсиса Аристотеля, отказом от их разрешения, оставлением субъекта со всеми его противоречиями. Так происходит деконструкция коммуникативных каналов. Но какую работу выполняют такие практики, могут ли они добавить что-либо к изучению социальных проблем?

Первое, что они делают, – бросают вызов представлению о мире как о прозрачной действительности. Когда Ибарра и Китсьюз, делая сходное наблюдение, озабочены тем, что исследователи социальных проблем не могут до конца оставаться нейтральными, невольно предпочитая некоторые общепринятые версии, то они (Ибарра и Китсьюз) предлагают модернистскую трактовку деконструкционизма. Модернистскую в том смысле, что сохраняются категориальные различия между познающим и познаваемым, то есть между причинами и желаниями.

Напротив, такие постмодернистские аналитики, как Бодрийар, Гордон, Ор, Фол, Крокер и Кук, считали предполагаемую аналитическую нейтральность модернистской сцены иллюзией. Вопреки модернистским кон

цепциям знания они принимают явно оценочную позицию по отношению к условиям современного сознания и жизни, так как вера в онтологическое разделение факта и оценки недостижима. Ритуальная деконструкция не полагается на факты для доказательства верности утверждений-требований или развенчания тех, кто их выдвигает. Вместо этого выдвигаются общепризнанные образы, которые разупорядочивают проявления действительности, тем самым демонстрируется хрупкость социальной реальности.

Деконструкция во всех своих постмодернистских формах стала мишенью критики со стороны более традиционных академических ветвей социологии за отказ от структурного анализа политико-экономических процессов в пользу изучения культурных образов. Например, предполагается, что brutальные, ломаные образы постмодерна – это лишь уступки чарам языка, которые не значат ничего, кроме открытого в творческих муках деконструктивного изображения. Другие критики считают, что деконструкционизм – это ответ поколения профессионалов, занимающих второстепенные в научных кругах позиции по сравнению с консервативной академической элитой конца 1970-х и начала 1980-х гг. С этой точки зрения неупотребительный язык и путаные образы являются метафорой, скрывающей реальные намерения исследователей. Особенно жесткой критике – за сведение всей жизни до пределов языка и отступление от конкретных политических действий – они были подвергнуты сторонниками изучения политико-экономической области как главной сферы социальных изменений.

Множество защитников постмодернистских форм деконструкции доказывают, однако, что их теория и метод глубоко политичны. Они предпринимают попытки сконструировать новую политику рассуждений и жизни, ломая преобладающий сегодня дискурс власти. Это будет теоретической заменой исторического материализма, противоречия которого становятся все более и более очевидными.

Я (автор) хочу проверить значения «Криминологических замещений» как прототипа ритуальной деконструкции в рамках социологии и подвергнуть критике проект деконструкции, используемый в изучении социальных проблем.

### ***По ту сторону проблемы “объект–субъект”***

В представлениях ритуального (де)конструкционизма человеческий опыт – это в основном то, что социально конструирует локализованный объективный мир. Эта социально сконструированная объективность подразумевается в существовании систем власти и господства того, что продолжает существовать только на основании этого представления. Человеческие действия сдерживаются социально установленными формами власти, и некоторые люди испытывают ограничения, которые более других деструктивны телесно, умственно и душевно.

История, не признаваемая (де)конструкционистами, дает эффект социально перераспределяемой реальности, которая пребывает в языке, идеологии и ритуально-коммуникативном поведении членов общества. Социологи как производители культурных текстов замешены в представлении (и, таким образом, в производстве) этих слов власти и доминирования.

Постмодернистская критика в «Криминологических замещениях» отвергает центральный канон *Науки*. Архимед возможно сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». С момента “озарения” некоторой идеей наука предлагает себя как точку опоры вне истории, на которую могут твердо встать посланцы человечества, используя рычаг научной практики для смещения Земли. Развитие науки и ее борьба с религией на англосаксонском Западе была борьбой между способами мышления, доминирующими в социальной жизни.

Мир, который сейчас модно называть “постмодерн”, – это тот же модернистский проект, преследующий бесконечное расширение человеческого потенциала через применение технорациональных систем в промышленности, экономике и политике, проект, оказавшийся на мели собственных противоречий. Следствие этого – появление различных “постмодернистских” форм интеллектуальной практики включая деконструкцию в рамках литературной критики, искусства и социальных наук. Но есть и другие признаки конца гегемонии модернизма.

Социально-конструкционистские теории социальных проблем сами являются предвестниками упадка модернистского проекта в социологии, так как они бросают вызов канону прозрачной социальной реальности. Предпочитая “лозунги” “условиям”, они подвергают сомнению основания эмпирической социальной науки. Мир в теориях социального конструкционизма сводится к сознанию, что угрожает растворению социологического проекта в плюрализме частной интуиции. Отрицая возможность архимедовой точки опоры, но не предлагая никакой альтернативы, конструкционистские теории социальных проблем провоцируют постепенный отказ от активной борьбы за изменение мира.

Ибарра и Китсьюз попытались освободить конструкционизм от беспорядка плюралистических интуиций ссылкой на новую архимедову точку – на беспристрастную риторическую деконструкцию, то есть они предложили новую парадигму анализа социальных проблем. Как только аналитики социальных проблем согласятся, что инструменты риторического анализа сами стоят вне истории и независимы от анализируемого мира, архимедова точка будет восстановлена.

Ритуальная деконструкция как ранняя форма социального конструктивизма понимается также как крайний вариант отрицания возможности того, что конкретный мир может быть изучен, подвергнут критике и сознательно изменен социальными деятелями. Однако я хочу показать, что эта критика неправильно понимает проект и практику ритуальной деконструкции.

### *Кризис современности*

В развитом мире по-современному выглядит борьба трех направлений в области познания: премодерна (религия/магия), модерна (наука/технология), постмодерна (деконструкция/сюрреализм). Подобно большому кораблю, севшему на мель, модернистский проект с его уверенностью в позитивистской науке остается для многих наиболее устойчивой, внушающей доверие системой поддержания жизнедеятельности. Относительно немногие готовы отвергнуть модернизм ради поиска новых берегов в жизненных лодках религии или так называемых практик постмодернизма. Однако у модернизма практически нет будущего...

До второй половины XX в. социальные науки подходили к истории как к более или менее преднамеренному проекту сознательно действующих людей. Уверенность в этом была поставлена под сомнение французскими структуралистами в 1960-е гг. Французский антрополог Клод Леви-Строс в частности оспаривал позитивистское видение истории как прозрачной действительности, доказывая, что любые попытки понимать историю как проект сознательных субъектов игнорируют роль лингвистических и культурных систем тогда, когда имеет место человеческое действие. Эти системы существуют независимо от индивидуально действующих лиц и служат конституированию их субъективности. Таким образом, исторические формы или несоизмеримы, что делает “историю” невозможной вообще, или они интерпретируются через культурные проекты настоящего, что скрывает специфику конкретных исторических моментов и их культурных форм.

С точки зрения структуралистов, человеческие субъекты становятся не производителями значений, а их пленниками. Освобождению субъекта из этой теоретической тюрьмы способствуют теории “постструктурализма” и феминистские теории.

Феминисты выдвигают на передний план проект понимания процесса половой идентификации. Многие идеи они почерпнули в работах Жака Лакана, французского психоаналитика. У Лакана процесс половой идентификации описан в категориях структурной лингвистики. Разрешение эдипова комплекса требует подчинения индивидуального начала правилам символического порядка, что является условием коммуникабельности и удовлетворения желаний. Но необходимым компонентом этого подчинения является также подавление истинных форм желания и исключение их из сознания и речи субъекта, их перевод в социально приемлемые разговорные акты.

Вместе с тем, подавленное желание продолжает существовать независимо от способов его удовлетворения, предлагаемых культурой, и поэтому оно может быть вскрыто с помощью осторожной деконструкции сознательной речи и несознательных выражений субъекта. Субъект может компенсировать высвобождение своего подавленного желания исследованием



сознательного разума и мира, то есть восстановив его в уме и по-новому интерпретируя символическое выражение этого желания.

Деконструктивные механизмы «Криминологических замещений» отражают взгляды Лакана в отношении того, почему сознательная жизнь индивидов не служит объяснением человеческого поведения. Видеотекст перемещает лакановское понимание из области психоанализа в область социоанализа, стремясь возратить сознательную интерпретацию подавленного желания с помощью социальной науки. Делается попытка сокрушить вездесущий культурный “белый шум” – источник подавления. Через коллаж и сюрреалистические методы постмодернистской деконструкции видеотекст пытается охватить зрителя зеркальным образом доминирующего культурного “белого шума”.

Любовь в мире постмодерна представлена как контроль, знакомые образы предлагаются в альтернативных и более зловещих ролях. Метафоры «Криминологических замещений» борются за уничтожение волн образов, излучаемых наиболее привилегированными секторами культуры, превращая их организованность в беспорядок, создавая новую тишину, в которой подавленное желание социальной науки может быть услышано. Это не должно восприниматься как идея служения угнетенным, методы деконструкции преследуют именно возвращение подавленного.

Видеотекст пытается дать голос тому, что подавлено в душе социальных ученых. Предполагается, что исследователи социальных проблем, в частности те, кто изучает девиантность и преступность, озабочены вопросом, не пытаются ли они проклассифицировать, подсчитать и проконтролировать то, что подавляют в себе и, таким образом, ненавидят в “другом” – в особенности потому, что “другие” наслаждаются тем, чем они (исследователи) не могут наслаждаться, и что они в своей подавленности будут отрицать для всех других.

Социальные ученые в основном не обладают контролем над своими жизнями. Многие значимые аспекты их жизни кажутся заложниками неподконтрольной им силы. Работа социальных ученых по подсчету, классификации и, потенциально, контролю девиантов, преступников, бедности, необразованности, безработицы, множества социально слабых групп создает лишь иллюзию их власти. Те, кто практикует науку соответствующим образом и делает это технически грамотно, иногда может даже получить доступ к процессу принятия решений, к тем, кто обладает властью. Статьи в “главных” журналах, место в престижных университетах, роль в региональных... или даже федеральных комиссиях – все это возможные награды за участие в соответствующей практике конвенциональной социологии. Доступ в этот элитный клуб просто требует превращения страданий обычных людей в абстракции, графики, коэффициенты. Это и есть замещение, на котором фокусируются «Криминологические замещения» через деконструкцию образов порядка.

### *Следуя началу: заключение*

Практики ритуального (де)конструктивизма, такие, как «Криминологические замещения», представляют собой первый уровень в реконструкции политической практики человеческого освобождения. Первый уровень – потому, что они служат критикой власти господствующего дискурса и образов, выставляя на показ этот дискурс и заставляя его говорить то, что он скрывал, чего он не знал о себе.

Ритуальная (де)конструкция «Криминологических замещений» предлагает метод раскрытия силы господствующего дискурса и образов, также описывая формы политической практики. Те, кто заинтересован в развитии действенной альтернативы исследованиям социальных проблем, должны политически действовать телесно так же, как и умами, солидарно с теми, кто является жертвами установленной власти и с теми, кто жаждет изменения, утоляющего боль, уменьшающего эксплуатацию и страдания человеческих тел. Это требует развития теории и исследования причин политико-экономических и социокультурных источников социальной несправедливости, а также выдвижения на передний план связей между этими силами.

Новая политика дискурса, представленная в практиках ритуальной деконструкции, может быть необходима в целях демонстрации предзаданного садизма большинства академических исследований социальных проблем. Она может побудить некоторых практиков-исследователей проверить отношение между их работой и существующими системами культурного господства.